

Б. Л. НЕДЗЕЛЬСКИЙ

ПУШКИН В КРЫМУ

КРЫМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Напечатано в 1-й Гостиполи-
тографии «Крымполиграфтре-
ста» в г. Симферополе в ко-
личестве 2000 экз. Заказ № 3589.
Крымлит № 4426.
Симферополь—1929

I. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Краткий обзор предыдущих работ по данному вопросу.—Обычный биографический рассказ о том, как Пушкин попал в Крым.—Дополнения и поправки к нему.

В 1820 году Пушкин посетил Крым, где провел лишь около месяца, однако это путешествие сыграло настолько значительную роль в жизни и творчестве поэта, что выяснение даже мелких внешних обстоятельств поездки, не говоря уже о жизни Пушкина в этот короткий период, о впечатлениях и настроениях поэта и отражении их в творчестве, не только завлекательно, но имеет и научный интерес.

Пребыванию Пушкина в Крыму уделялось достаточно места в общих очерках жизни и творчества поэта, имеется ряд заметок и даже монографий, посвященных этому вопросу,¹ и тем не менее „и поныне еще многое остается

¹ Бартенев, П.—Пушкин в Южной России. „Русск. арх.“ 1866 г., №№ 8—9. Маркевич, Ар. И.—Пушкин в Крыму и Крым в произведениях Пушкина. Оттиск из „Таврич. губернск. ведомостей“. Симф. 1887 г. Маркевич, Ар.—Пушкин и Крым. „Изв. Тавр. уч. арх. ком.“ № 30. Симф. 1899. Карский, М.—Пушкин в Тавриде. Симф. 1899. Булашев, Г. О.—Пушкин на юге России. „Сборник статей об А. С. Пушкине“ Изд. Киев. педаг. о-ва. Киев. 1899. Александровский, Г. В.—Из юбилейных чтений о Пушкине. „Ежегодник коллегии Павла Галагана 1898—99 г.“. Житецкий, И. П.—Из первых лет жизни Пушкина на юге России. „Киев. стар.“ 1899. Маркевич, Ал. И.—Пушкин и Новороссийский край. Одесса. 1900. Бертъе-Деллагард, А. Л.—Память о Пушкине в Гурзуфе. „Пушк. и его совр.“, вып. XVII—XVIII. Лернер, Н. К.—К хронологии пребывания Пушкина в Крыму. „Рус. стар.“ 1912, кн. 4. Василевский, Н. Н.—Пушкин в Крыму. Еженедельное приложение к газете „Красный Крым“. Июль. 1927. Акад. Платонов, С. Ф.—Пушкин и Крым. С приложением письма проф. С. Адрианова.—Пушкин и Крым. „Изв. Тавр. общ. истории, археологии и этнографии“, т. II (59-й). Симф. 1928, и др.

в тумане". Причиной этого является скудость документальных данных, а также то обстоятельство, что часто свидетельства современников повторялись без должной критической проверки. Надо также отметить, что иногда в материалы для биографии Пушкина включались факты, взятые из художественных произведений и легенд, связанных с именем поэта, но возникших уже гораздо позже и часто без достаточных на то реальных оснований. Уже в материалах о пребывании Пушкина на юге, любовно собранных Бартеневым и чрезвычайно ценных тем, что многое в них записано со слов современников (некоторые подробности путешествия Пушкина в Крым были сообщены автору одной из спутниц поэта—М. Н. Раевской-Волконской), замечаются указанные недостатки: упоминается, например, о „старинной библиотеке“ в недавно отстроенном, лишенном удобств и необитаемом гурзуфском доме герцога Ришелье или приводится якобы поэтическое сказание татар, нелепая выдумка Евг. Тур о соловье, певшем над головою Пушкина, когда последний в Гурзуфе сиживал под кипарисом. Фактические неточности и поэтические вымыслы в последующих работах часто не находят к себе должного критического подхода и постепенно умножаются. В этом отношении характерна работа Г. О. Булашева, в которой автор дает обстоятельный подбор подчас сомнительных данных о жизни и творчестве Пушкина на юге России, не подвергая их критике, а любовь поэта к Марии Раевской аргументирует словами, которые Некрасов в „Русских женщинах“ вложил в уста жены декабриста кн. С. Г. Волконского. Пополнить фактический материал по вопросу о пребывании Пушкина в Крыму, подвергнуть критике предшествующие высказывания легче всего было на месте, в Крыму, и в этом направлении большая работа была проделана бывш. Таврической ученой архивной комиссией, в частности Ар. Ив. Маркевичем. Отчасти результатом этой работы явилась статья А. Л. Бертье-Делагарда „Память о Пушкине в Гурзуфе“. В этой узкой по теме, но чрезвычайно обстоятельной статье Бертье-Делагард, несколько пополнив фактический материал, дав ряду уже ранее

известных фактов новое истолкование, исправив ряд неточностей и выделив легендарный элемент предшествующих работ, указал новые вехи для последующих близких по теме исследований; после его статьи вопрос о поездке Пушкина в Крым настоятельно требует пересмотра. Обычный биографический рассказ, как Пушкин попал в Крым, сводится к следующему: в петербургский период (1817—1820 гг.) Пушкиным был написан ряд стихотворений, направленных против деспотизма и крепостного права, и эпиграмм на царя, военного министра Аракчева, министра просвещения кн. Голицына и других приспешников правительства. Эти политические стихотворения, во множестве расхоронившиеся в списках, а также вызывающее поведение поэта обратили на себя внимание власти; о „возмутительных“ стихах Пушкина было донесено Александру I, и сочинителю их грозила ссылка в Сибирь или на Соловки. Только благодаря заступничеству друзей и покровителей Пушкина, наказание было значительно смягчено: поэт был переведен на службу в Екатеринослав, в канцелярию генерала Инзова, управляющего колонистами в южно-русских областях. 6 мая 1820 года Пушкин покинул Петербург и выехал на место своей новой службы. Однако в Екатеринославе поэт прожил лишь около десяти дней. Выкупавшись как-то в Днепре, он простудился и слег в постель. На его счастье, в конце мая через Екатеринослав на Кавказские Минеральные Воды проезжал известный генерал—участник войны 1812 года—Николай Николаевич Раевский. С Раевским на Кавказ ехали его младший сын Николай, гвардии ротмистр, и две младшие дочери, Мария и Софья, при них англичанка мисс Мятен и компаньонка Анна Ивановна, татарка по происхождению, крестница генерала, а также военный врач Рудыковский, описавший гораздо позже встречу с Пушкиным в Екатеринославе и дальнейшую совместную поездку на Кавказ в небольшой, но ценной для биографов Пушкина заметке.¹

¹ Встреча с Пушкиным. „Рус. вест.“ 1841. № 1. Заметка полностью приведена П. В. Анненковым в его книге „А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений“. СПб. 1873, стр. 65—67.

рогу"¹. Упоминание о Крыме в письме Тургенева и тем более Карамзина, который поручился за поэта, конечно, нельзя объяснять неточностью. Образ действия Инзова, дающего присланному к нему опальному чиновнику длительный, месяцев на пять, отпуск, тоже заставляет предполагать определенные указания из Петербурга. Самые обстоятельства встречи Раевских с Пушкиным в Екатеринославе опровергают мысль о ее случайности. Раевские прибыли в Екатеринослав в десятом часу вечера, и тотчас же после „дурной дороги“ не только Раевский-сын, но и генерал разыскали Пушкина. О том, что поэт захворал, путешественники могли узнать только в Екатеринославе, так как они выехали из Киева 19 мая,² т. е. через 1—3 дня после приезда Пушкина на место новой службы; но в таком случае они, естественно, взяли бы с собой к нему и сопровождавшего их лекаря Рудыковского, а этого не случилось. Следовательно, ген. Раевский шел к Пушкину, не зная о болезни последнего, а причиной такого посещения могло быть лишь какое-то важное дело. Есть и еще факт, подтверждающий, что поездка Пушкина с Раевскими на Кавказ и в Крым не является простой случайностью: Н. Н. Раевский-младший на следующий день по приезде на Кавказ пишет первое за всю дорогу письмо к матери, где, упоминая о хорошем обществе, в котором ему приходится вращаться, называет, на ряду с братом Александром и его компаньоном Фурнье, хорошо известным ей, и Пушкина, без всякой характеристики и не поясняя, как он попал на Кавказ.³

Из указанных фактов напрашивается вывод о некоторой договоренности между Пушкиным и Раевскими относительно поездки на Кавказ и в Крым, однако, он был бы еще преждевременным. Пушкин 24 сентября 1820 года писал брату: „Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевской,

¹ „Старина и новизна“, кн. I, стр. 101.

² „Арх. Раевских“, т. I, стр. 517. Эта же дата указана и в заметке Рудыковского.

³ *Ib.*, т. I, стр. 219—220.

который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные), сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам; лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить; Инзов благословил меня на счастливый путь. Я лег в коляску больной; через неделю вылечился".¹ Из письма следует, что сын Раевского предложил путешествие тут же, при встрече. Это заставляет Бертье-Делагарда предполагать, что о поездке хлопотал не Пушкин, а его друзья и покровители, и что поэт об этом, если не знал, то подозревал. Так как в письмах Карамзина, Тургенева и Булгакова говорится лишь о Крыме, то возможно и другое, не менее вероятное, предположение: уговор с Раевскими, непосредственный или через общих знакомых, был, но распространялся он лишь на поездку в Крым; на Кавказ же Пушкин попал случайно.

Незадолго до событий конца апреля Пушкин, утомленный шумной столичной жизнью, писал кн. Вяземскому: „Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу".² Выражения „края чужие" и „полуденный воздух" указывают, что Пушкин в то время стремился на юг, но куда именно, точно не определяют. Интересно однако отметить, что в первом крымском стихотворении поэт эпитетами „полуденный" и „чужой" (эпитет „чужой" иногда противопоставляется в Пушкинском словаре „отеческому", „родному") характеризует именно южный берег Крыма:

„Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края..."

.....
„Лети, корабль, носи меня к пределам дальним
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей..."

¹ Пушкин. — Письма, т. I, стр. 12.

² Иб., т. I, стр. 10.

Мечтания поэта о полуденных краях по времени совпадают с обсуждением в семействе Раевских поездки в Крым, который должен был заменить Италию, куда врачи посылали Ек. Ник. Раевскую.¹

Некоторые из указанных фактов в отдельности могут быть истолкованы в направлении обычного биографического рассказа, но совокупность их заставляет несколько изменить последний, а именно: к 1820 году рассеянная столичная жизнь, кутежи и увлечения, неравная борьба с великосветской чернью утомили Пушкина. В это время в семействе Раевских, в дом которых Пушкин был вхож, обсуждался вопрос о поездке на юг. Поэт мечтал совершить такую же поездку, возможно даже в семействе Раевских или одновременно с ней. Конфликт с правительством и перевод по службе лишь способствовали осуществлению желания поэта, видоизменив однако форму его выполнения. В деле осуществления желания Пушкина видную роль сыграла семья Раевских, у которой была относительно поездки в Крым некоторая неизвестная нам договоренность с друзьями и покровителями поэта, а может быть и с ним самим.

Итак, поездка в Крым не являлась для Пушкина неожиданной случайностью.

¹ „Арх. Раевских“, т. I, стр. 219, 278 и 302.

II. ПУТЕШЕСТВИЕ ПУШКИНА ПО КРЫМУ

(Керчь. Феодосия. Гурзуф)

1

Материалы.—Переезд Пушкина в Крым.—Керчь в 20-ых гг. прошлого столетия и впечатления от нее поэта.—Общие замечания о крымских впечатлениях Пушкина.

Материалы о пребывании Пушкина в Крыму чрезвычайно скудны. Главными из них являются два письма самого Пушкина: первое—к брату Льву от 24 сентября 1820 года из Кишинева, куда Пушкин прибыл из Крыма 20 сентября, т. к. во время его странствований сюда был переведен попечительный комитет о колонистах южного края; второе, написанное по прочтении книги Ив. Матв. Муравьева-Апостола „Путешествие по Тавриде в 1820 году“ (СПб. 1823),—барону А. А. Дельвигу от середины декабря 1824 г. уже из села Михайловского, где поэт находился тогда в ссылке.¹ На основании этих писем можно установить некоторые внешние обстоятельства поездки, приблизительный маршрут, образ жизни Пушкина в Гурзуфе, а главное—настроения и впечатления поэта в Крыму. Кроме этих писем, ценным материалом, на основании которого можно воссоздать картину старого Крыма, с одной стороны, и с другой—впечатления современников Пушкина от этого края, являются свидетельства ряда поэтов и литераторов, посетивших Крым в первой четверти прошлого столетия. Особенно ценными среди них являются уже упомянутая книга Муравьева-Апостола и „Путевые записки по многим

¹ Пушкин. — Письма. Т. I, стр. 12 — 14 и 105 — 110.

Российским губерниям 1820 г." (Пгр. 1828), а также их продолжение¹ Г. Геракова.

В черновике указанного выше письма к Дельвигу Пушкин оставил интересное суждение о книге Муравьева-Апостола: „Путешествие по Тавриде прочел я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время, как и Ив. Матв. Очень сожалею, что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для проверки оных потребны обширные сведения самого автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? Различие наших впечатлений". Далее в письме Пушкин говорит о своих крымских впечатлениях. Конечно, впечатления юноши-поэта, к тому же в то время увлекавшегося Байроном, и впечатления эрудита, который к путешествию в Крым готовился два года,² были различны, но и самое различие впечатлений уже дает материал для суждения о Пушкине той поры.

„Путевые записки“ Геракова по мировоззрению автора, по приподнятой чувствительности, по напыщенному слогу напоминают посредственные сочинения подобного рода конца XVIII столетия.³ Однако Гераков случайно выехал с Горячих Вод лишь на несколько часов раньше Раевских, встречался с ними несколько раз в пути до Феодосии, а затем уже в сентябре в Симферополе и Бахчисарае, и это дает возможность по его запискам-дневнику установить некоторые даты путешествия Пушкина по Крыму.⁴

¹ Гераков. — Продолжение путевых записок по многим Российским губерниям с 14 сентября 1820 до 26 января 1821 года. Пгр, 1830.

² Муравьев-Апостол. — Путешествие по Тавриде, стр. VII.

³ Отмеченные недостатки „Записок“ в большей или меньшей мере присущи и книге Муравьева-Апостола, но они искупаются добросовестной научной и литературной подготовкой автора и широтой его интересов.

⁴ Упоминания о встречах с Раевскими в Крыму находятся в „Записках“ Геракова на стр. 120, 123, 156, 158 и в „Продолжении записок“ на стр. 12, 21, 24. Умалчивание Геракова о Пушкине можно объяснить неприязнью „старозаветного“ литератора к поэту (об этом см. В. Брюсов. — Пушкин в Крыму. Пушкин, ред. Венгерова, т. II, стр. 91).

Вечером 12 или утром 13 августа Пушкин вместе с Раевскими прибыл в Тамань. „С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма“, — пишет Пушкин в письме к брату. Однако переправиться в Крым из-за волнения на море путешественникам удалось лишь на третий день: к вечеру 15 августа.¹ Где останавливались Раевские в Керчи — неизвестно, однако можно предполагать, что они нашли приют, как и в Тамани, не в самом городе, а в крепости.

В то время Керчь играла роль почти исключительно военного города. Собственно город состоял из длинной бедной улицы, которая тянулась от двух небольших башен, означающих место, где были когда-то, еще при генуэзцах, городские ворота, в настоящую крепость. Если верить Геракову, в Керчи насчитывалось тогда до 4000 жителей, но в большинстве это были бедняки, добывающие себе пропитание рыбным и соляным промыслами или мелкой торговлей.

Для Пушкина, как и для Муравьева-Апостола, Керчь была привлекательна классическими воспоминаниями: „Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи“, позже признался он в своих ожиданиях в письме к брату. Тотчас же по приезде поэт отправился к Митридатовой гробнице и на Золотой курган, но был разочарован: „на ближайшей горе посреди кладбища увидел я груды камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни — не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землей, — вот все, что осталось от города Пантикапеи“. О своем разочаровании Пушкин говорит и в письме к Дельвигу: „Я тотчас отправился на так называемую Митридатову гробницу (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи — и только“. Муравьев-Апостол, хотя и не был восхищен

¹ Эта дата, как и предыдущая, установлена по „Запискам“ Геракова.

историческими урочищами Керчи, однако „при мерцании умирающего дня“ они пробудили в нем мечты и мысли о бренности царств, о подвигах, прославивших Тавриду, о судьбах отечества.¹ Пушкин же в черновом наброске письма к Дельвигу признался: „Воображение мое спало, хотя бы одно чувство, нет“. Цветок, сорванный на память, был утерян без сожаления. Однако классические сказания, связанные с Керчью, не утратили для поэта своей прелести: много позже Крым для него — „воображенью край священный“ и потому, что

„С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат“.²

Надо заметить, что Пушкин не ограничился только осмотром керченских развалин, но и беседовал о ходе раскопок со знающими людьми, результатом чего и явилась фраза Пушкина в письме к брату, коротко и метко характеризующая положение дела: „Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землю, насыпанной веками: какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий, но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится“. Действительно, суммы на раскопки правительство отпускало ничтожные и нерегулярно; сам же руководитель раскопок, французский эмигрант Дюбрюкс, бескорыстный и неутомимый труженик, положивший начало Керченскому музею, был человек неученый, которого заставили заняться раскопками „чтение Геродота и Страбона, а еще более скука“.³

Ни в письмах, ни в стихах Пушкин о современной ему Керчи ни разу не упоминает. Человека характеризуют не только впечатления от окружающего мира, но и отсутствие некоторых из них. В то время часть населения Керчи составляли архипелажские греки, переселенные туда по мысли Орлова-Чесменского после Кучук-Кайнарджийского мира. Они сохранили еще родной язык и любопытные старинные обычаи: женщины, напр., целые дни си-

¹ Муравьев-Апостол. — Путешествие по Тавриде, стр. 314—316.

² Странствие Онегина. Строфа XIII.

³ Из воспоминаний Михайловского-Данилевского. „Рус. стар.“. 1897, № 7. стр. 92.

дели, поджавши ноги, на ковриках перед своими домиками, проводя время в будние дни—в трудах, в праздники—в разговорах. Однако уже на Кавказе Пушкин наблюдал еще более любопытную и пеструю этническую картину, о которой упомянул и Н. Н. Раевский-старший в письме к дочери.¹ Вот почему поэт остался равнодушен к картине уличной жизни Керчи в то время, как его заинтересовали и дикие черкесы, быт которых он с таким знанием изобразил в „Кавказском пленнике“, и черноморские и донские казаки, о которых, как будет сказано ниже, он писал свои замечания.

То же следует заметить и о впечатлениях Пушкина от природы Крыма. На Кавказе поэт видел великолепную цепь гор, „ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными“; он всходил „на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной“. Вот почему, например, переезд по скалам Кикенеица во время путешествия по Южному берегу, вызывавший жуткие ощущения у других путешественников, современников Пушкина,² „не оставили ни малейшего следа“ в его памяти.

2

Переезд в Феодосию.—Город в 20-х гг. прошлого века и отсутствие упоминаний о нем у Пушкина.—Сем. Мих. Броневский.

Из Керчи Пушкин с Раевскими выехал 16 или 17 утром в Феодосию.³ Феодосия в начале 20-х гг. прошлого столетия была лишь немногим больше Керчи, однако это был главный торговый порт на Крымском побережье. Провозглашение его в 1798 г. „порто-франко“ на 30 лет и льготы поселяющимся в городе иностранным купцам способствовали развитию его торговли, главным образом, с Анатолией, и город, пришедший к концу XVIII века

¹ „Арх. Раевских“, т. I, стр. 523.

² См., напр., у Влад. Богд. Броневского—Обозрение Южного берега Тавриды, стр. 50, и у Муравьева-Апостола—Путешествие по Тавриде, стр. 166.

³ Дата установлена на основании „Записок“ Геракова.

в полный упадок и запустение, начал постепенно оживать и заново отстраиваться. Муравьев-Апостол, описывая Феодосию, упоминает об опрятных прямых улицах, обширных чистых площадях, о набережной, усаженной молодыми деревьями и устроенной для прогулок.¹ В городе имелись даже „трактиры“ для приезжающих и „Музеум“, хранилище древних памятников Тавриды. Внимание путешественников в городе обычно привлекали жизнь порта, карантин, лучший на Черном море, огромное здание старых бань, полуразрушенная турецкая мечеть и „чудная смесь вековых стен прежней Кафы и наших однодневных мазанок“.² Однако об этих достопримечательностях Феодосии Пушкин ни в стихах, ни в письмах не упомянул. „Из Керчи приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом—и подобно старику Виргилия, разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не ученый человек, но имеет большие сведения о Крыме, стороне важной и запущенной“,—пишет Пушкин брату.

В письме же к Дельвигу поэт упоминает лишь, что „из Феодосии до самого Юрзуфа“ плыл он морем, ничего не сказав о пребывании своем в самом городе. Это заставляет предполагать, что поэт, остановившись на загородной даче Броневского, самого города не осматривал. Во время своего путешествия с Раевскими Пушкин, конечно, встречался с представителями высших военных и административных кругов того времени, но в своем письме к брату он уделил внимание лишь Броневскому, что и заставляет сказать несколько слов о последнем, тем более, что в ряде исследований бывшего градоначальника Феодосии Семена Михайловича Броневского смешивали то с одним из его племянников—Влад. Богдан. Броневским, автором „Обозрения Южного берега Тавриды. В 1815 г.“ (Тула 1822 г.), то с другим—Семеном Богдановичем, государственная деятельность которого

¹ Муравьев-Апостол.—Путешествие по Тавриде, стр. 248—249.

² Грибоедов.—Письмо к С. Н. Бегичеву из Феодосии от 12 сентября 1825 г.

протекала в первой половине прошлого века в Восточной Сибири.¹ Семен Михайлович Броневский (1764—1830) в юности „был покровительствуем“ Зоричем, на средства которого путешествовал по Европе, затем служил на Кавказе: сначала в военной службе — дежур-майором при графе Зубове, потом, выйдя в отставку, правителем дел при главноуправляющем Грузии кн. П. Д. Цицианове (1802—1804). После этого Броневский служил в министерстве иностранных дел по Азиатскому департаменту, а в 1810 году был назначен на вновь утвержденную в Феодосии должность градоначальника, в которой и состоял около шести лет. В 1816 году „без просьбы, без вины и без копейки пенсiona“ он был „по проискам греческой партии“ отстранен от должности и предан суду за ряд преступлений по службе. Следствие длилось долго, и только в ноябре 1824 года было вынесено окончательное постановление сената, к сожалению, нам неизвестное. Отстраненный от должности, Броневский поселился на своей даче, верстах в двух от города.² Здесь он на 8 или

¹ Материалы для биографии и характеристики С. М. Броневского можно найти в следующих трудах: Воспоминания Броневского, „Рус. стар.“. 1908, № 6; Влад. Богд. Броневский—„Обозрение Южного берега Тавриды. В 1815 г.“; Гераков—„Путевые записки по многим Российским губерниям“; Ф. Ф. Вигель—Записки, ч. VII и приложение к ней; Сборник „В память графа Сперанского“, СПб. 1872; П. В. Никольский—Описание Сенатских дел Исторического архива Тавр. уч. арх. ком. (см. №№ 242, 254, 255, 307, 317, 326, 382, 406, 417, 830). Изд. Тавр. уч. арх. ком. Симф. 1917 (самые дела ныне хранятся в Крымском Централархиве); Маркевич, Ар. И.—Таврическая губерния в связи с эпохой 1806—1814 годов, „Изв. Тавр. уч. арх. ком.“ № 49, Симф. 1913; Гейман, В. Д.—Из Феодосийской старины (архивные справки), „Изв. Тавр. уч. арх. ком.“ № 53. Симф. 1916; Половецкий, А.—Исторический очерк Феодосийского уездного училища, „Изв. Тавр. уч. арх. ком.“ № 55. Симф. 1918; „Акты Кавк. археогр. ком.“, т. 2.

Материалом же для биографии Влал. Богд. и Семена Богдановича Броневских может служить рукопись, хранящаяся в фонд. библиотеке Крым. педагогического института: „Краткие заметки из жизни и службы Николая Богдановича Броневского“. Записки составлены Ник. Богд. Броневским в 1851—52 г. в г. Гродне. О Сем. Мих. Броневском автор упоминает лишь вскользь.

² Дом С. М. Броневского сохранился и до настоящего времени и находится на Ольгинской улице под № 5 (на перекрестке), рядом с дачей быв. Стамболи.

9 десятинах земли разбил фруктовый сад, доходы от которого и окупали его жизнь. Скончался Броневский на своей даче 27 декабря 1830 года.

Человек просвещенный, побывавший за границей и владеющий несколькими языками, гуманный, протестующий в те времена против истязания крепостных, друг Сперанского, с которым он вел переписку в мистическом духе, массон, Сем. Мих. Броневский является интересной и незаурядной личностью в среде служилого дворянства Александровских времен. Известен Броневский и в учено-литературном мире, как автор двухтомного труда „Новейшие географические и исторические известия о Кавказе“ (М. 1823); эта книга имелась в библиотеке Пушкина¹, в чем можно усматривать не только интерес Пушкина к Кавказу, но и к личности автора.

Как проводили время Раевские и Пушкин на даче Броневского—неизвестно, но можно предполагать, что оно протекало в осмотре фруктового сада и его достопримечательностей, о которых упоминает Гераков: остатков колонн паросского мрамора, камней с надписями, храмовиков, а также в беседе с хозяином.

Главной темой бесед, конечно, был Крым, что и дало повод Пушкину в письме к брату упомянуть о больших сведениях Броневского об этом крае. Вероятно, Броневский высказывал о Южном берегу именно те мысли, которые он изложил в записке, вскоре переданной таврическому губернатору Баранову. Эта записка не сохранилась, но Баранов читал ее гостившему у него Геракову, и последний в своем дневнике отметил: „отлично написано, красноречиво, логически, умно, дельно; мало у нас таких писателей. В конце сих мыслей Броневского сказано почти так: когда все выполнится по его обдуманному предположению, тогда явится фруктовый сад на 250 верстах, достойный величия и славы России“.² Из слов Геракова можно заключить, что Броневский, считая Крым „стороной важной“, но „запущенной“, указывал в своей записке, а следовательно и в разговорах с Пушкиным и Раевскими,

¹ Библиотека А. С. Пушкина, „Пушк. и его совр.“. Вып. IX—X, стр. 15.

² Г е р а к о в.—Путевые записки, стр. 161.

на необходимость ряда мероприятий, среди которых не последнее место отводилось заботам о развитии в крае садоводства.

Другой темой для бесед, надо полагать, был Кавказ. Длительное пребывание на Кавказе и занимаемые должности дали возможность Броневскому еще в молодости ознакомиться с особенностями этого края, с его историей, а служба в Азиатском департаменте уяснила всю важность завоевания Кавказа с точки зрения международной политики. В начале 20-х гг. Броневский подготовлял к печати свою книгу о Кавказе, и естественно поэтому предположить, что он обменивался мнениями об этом крае с путешественниками, только что прибывшими оттуда. Поэтому, если в эпилоге к „Кавказскому пленнику“, не соответствующему вольнолюбивым настроениям автора, можно усматривать отражение мыслей военной среды, окружавшей генерала Раевского, то откликом бесед о Кавказе в Феодосии, с большой вероятностью, можно считать следующие строки в письме к брату:

„Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не приносящая никакой существенной пользы для России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах,— и может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии“.

Наконец, можно предполагать, что о ходе раскопок в Керчи Пушкин слышал и от Броневского. С одной стороны, упоминание в письме к брату о том, что раскопки производил „француз, присланный из Петербурга“, не могло исходить от местных жителей, так как Дюбрюкс служил в Керчи с 1810 года, раскопки же производились лишь с 1816 г. С другой стороны — Броневский интересовался археологией, был основателем музея древностей в Феодосии, экспонаты для которого сам разыскивал по Крыму,¹ а потому, конечно, знал и о ходе керченских раскопок. Замечание: „ему (Дюбрюксу) недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится“, можно тоже

¹ Воспоминание Броневского. „Рус. стар.“. 1908, № 6, стр. 559. Гермоген, Еп.—Таврическая епархия. Псков, 1887, стр. 372.

истолковать не только как личный взгляд Пушкина, но и как отражение оппозиционного отношения Броневского к русской действительности.

3

Переезд из Феодосии в Гурзуф.—Элегия „Погасло дневное светило“.— Первые впечатления поэта от Гурзуфа.—Дом, в котором проживал Пушкин.— Пушкин и семейство Раевских.— Времяпровождение поэта в Гурзуфе.

Из Феодосии вечером не раньше 17 августа и не позже 19¹ путешественники отправились в Гурзуф.

„Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем“— рассказывает Пушкин в письме к Дельвигу.—„Всю ночь не спал; луны не было; звезды блистали; передо мною в тумане тянулись полуденные горы... „Вот Четырдаг“,— сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал“. Об этом переезде Пушкин вспомнил и позже в „Путешествии в Арзрум“: „Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мной. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Четырдага“. Едва ли это равнодушие поэта к внешнему миру в данном случае можно объяснить обилием и яркостью кавказских впечатлений: ночью на бриге Пушкиным была набросана элегия „Погасло дневное светило“, которая показывает, что в то время поэт был поглощен другими, личными переживаниями. В этой элегии поэт с горечью вспоминает свою жизнь на севере, „где рано в бурях отцвела“ его „потерянная младость“, и без сожаления порывает с прошлым, но в душе его еще живет мучительное чувство прежних лет—безумная любовь, т. к.

..... прежних сердца ран,
Глубоких ран любви ничто не излечило“.

Интересно отметить, что это чувство в сознании поэта связано не только с прошлым, но и с будущим:

¹ Эта дата устанавливается на основании „Записок“ Геракова и документов, найденных А. И. Маркевичем в архиве канцелярии таврического губернатора („Изв. Тавр. уч. арх. ком.“, № 47. Отчет о деятельности Тавр. уч. арх. ком. за 1910 г. Заседание 26 мая 1911 г., стр. 25—26).

„Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
С волнением и тоской туда стремлюся я,
Воспомянем упоенный“

То обстоятельство, что Пушкин не выставил под элегией своего имени, когда она впервые была напечатана в „Сыне отечества“, а позже в собрании своих стихов 1826 г. озаглавил для прикрытия „Подражанием Байрону“, заставило уже Бартенева подозревать в ней наличие непонятных для нас биографических намеков.

„Перед светом я заснул“,—рассказывает Пушкин дальше в письме к Дельвигу.—„Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам, тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аю-Даг... и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...“ Ни Керчь, ни Феодосия, расположенные на плоском побережье, окруженные невысокими холмами со скудной растительностью, не могли дать поэту ярких зрительных впечатлений. Крым во всей своей красоте впервые предстал взорам поэта лишь в Гурзуфе, и о своем пленительном пробуждении на бриге Пушкин позже так рассказал в стихах:

„Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При блеске утренней Киприды,
Как вас в первой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груди ваших гор;
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною...“¹

Гурзуф в те времена представлял собою татарскую дереушку, расположенную у подножья Яйлы и Аю-Дага в тесной долине, орошаемой небольшой речкой Дундой,² прихотливо извивающейся между деревьями и кустар-

¹ „Странствие Онегина“, строфа XIV. Курсив наш.

² Эта речка в низовьи носит еще название Сюнарпутан.

никами. Невдалеке от татарских хижин на не высоком уступе к морю высился недавно выстроенный „в каком-то необычайном вкусе“, неудобный для жилья дом герцога де-Ришелье. В этом доме Ришелье прожил лишь несколько дней осенью 1811 года, и с тех пор дом стоял необитаемым, но по распоряжению хозяина, данному раз и навсегда, в нем предоставлялся приют путешественникам. В нем и поселилась семья Раевского, вероятно, по указанию своего родственника А. М. Бороздина, бывшего таврического губернатора, который проживал в пятнадцати верстах от Симферополя, в своем имении Саблах.¹

В те времена дом лишь со стороны гор, куда он был обращен фасадом, представлял собою большое двухэтажное здание с бельведером, с боков же и сзади нижний этаж, служивший тогда лишь подвалом, был врыт в землю.² Нынешний второй этаж, по свидетельству Муравьева-Апостола, который останавливался в этом доме через месяц после Раевских, состоял тогда „из галереи, занимающей все строение, исключая четырех небольших комнат, по две на каждом конце, в которых столько окон и дверей, что нет места, где кровать поставить“. Кроме указанных четырех комнат второго этажа, над галлеей под чердаком находился большой кабинет.³ Пушкин вместе со своим другом Н. Н. Раевским-младшим поместился в одной из комнат второго этажа,⁴ но указать в какой именно, за отсутствием данных, не представляется возможным. В Гурзуфе „в кругу милого семейства“ Пушкин прожил около трех недель; в письме к брату он назвал это время „счастливейшими минутами“ своей жизни, а позже, два года спустя, в первоначальной редакции элегии „Люблю ваш сумрак неизвестный“ снова указал на Гурзуф („Мой дух к Юрзуфу прилетит“), как на место, „где жизнь была милей“.

¹ Бертъе-Делагард.— Ор. cit., стр. 123—125.

² Иб., стр. 132—136.

³ Муравьев-Апостол.— Путешествие по Тавриде, стр. 153.

⁴ Грот пишет со слов Ек. Ник. Раевской-Орловой: „Пушкин с помощью брата Николая читал в Гурзуфе Байрона, и когда они не понимали какого-нибудь слова, то, не имея лексикона, посылали наверх к Ек. Ник. за справкой“ (Грот, Я.—Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. 2-е изд. 1899, стр. 52—53).

Пребывание в Крыму в кругу просвещенного, любезного и дружного семейства было для поэта тем более привлекательно, что жизнью в семье он еще „никогда не наслаждался“, так как в доме родителей, людей взбалмошных, пустых и скупых, больше всего дороживших светскими успехами и равнодушных к семье и хозяйству, Пушкин ни в детстве, ни по выходе из лицея не находил не только любви и заботы, но даже внешнего порядка и благоприличия.

Раньше уже было сказано, что Пушкин был вхож в семейство Раевских еще в Царском Селе и Петербурге, однако в столице это было лишь светское знакомство, и только с Н. Н. Раевским-сыном поэта связывала дружба, литературными памятниками которой являются шуточная записка к Жуковскому летом 1819 г.: „Раевский, молодец прежний“, и трогательное посвящение к поэме „Кавказский пленник“.

Совместное путешествие на Кавказ и в Крым сблизило Пушкина со всеми остальными членами семейства Раевских. Он уже не только видел в генерале Раевском героя 12-го года, но и полюбил в нем „человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного попечительного друга, всегда милого и ласкового хозяина“. „Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества“, так отзывается Пушкин о Раевском-отце в письме к брату.

Уже указанные выше факты, что генерал Раевский проявил участие к опальному поэту, и что в Феодосии он остановился не у градоначальника, а у Броневского, „человека почтенного по непорочной службе, но отстраненного от должности и находящегося под судом“, говорят о том, что Раевский далеко не походил на своих сановных товарищей по оружию. По отношению к Пушкину-поэту генерал Раевский, как верно замечает Барте-нев, важен, „как человек с разнообразными и славными преданиями“, на глазах у которого проходила недавняя

история России.¹ Рассказы Раевского не могли не отразиться так или иначе в творчестве Пушкина, но почти с достоверностью такие отражения можно выделить лишь в собрании исторических анекдотов, озаглавленных самим поэтом „Table-Talk“. Хотя эти анекдоты записаны по совету Жуковского уже в 30-ых годах, тем не менее можно предполагать, что некоторые из них услышаны Пушкиным значительно раньше от Раевского-отца, может быть во время совместного путешествия на Кавказ и в Крым, когда для сообщения их было достаточно поводов и времени.

Ближе познакомился поэт в Гурзуфе и с дочерьми Раевского. Время протекало в прогулках, в оживленных беседах. Особенно часто Пушкин разговаривал и спорил о литературе с Ек. Ник. Узнав от Н. Н. младшего, что Ел. Ник. переводит на французский язык Байрона и Вальтер-Скотта, Пушкин стал подбирать под окнами клочки изодранных бумаг и, обнаружив тайну, восхищался правильностью переводов.² „Все его дочери—прелесть, старшая—женщина необыкновенная“,—так отзывается о них Пушкин в письме к брату. Наконец, почти все биографы Пушкина утверждают, что в Гурзуфе поэт переживал сердечное увлечение одной из сестер Раевских, но имя последней называют различно.

О своем пребывании на Южном берегу Пушкин рассказывает в письме к Дельвигу: „В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского Lazzaroni. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти“.

Одну подробность этого признания Пушкин вспоминает и в „Евгении Онегине“, говоря о своей Музе:

¹ Бартенева.—Ор. cit., стр. 1116.

² *Ib.*, стр. 1115.

„Как часто по брегам Тавриды
Она меня во тьме ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шопот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Творцу миров“.

Выражение письма „жил сиднем“ надо понимать почти буквально, т. к. в те времена дороги на Южном берегу были в таком состоянии, что по ним можно было ездить лишь верхом, на привычных лошадях, с проводниками и то нередко с опасностью. Поэтому рассказы татарина в поэме А. И. Подолинского „Переезд через Яйлу по Южному берегу Тавриды“ или ряд картин Айвазовского из жизни Пушкина в Крыму являются лишь плодом художественной фантазии.

4

Увлечение Пушкина поэзией Байрона на Кавказе и в Крыму. Знакомство Пушкина с Байроном в Петербурге.—Чтение Байрона в Гурзуфе.—Изменение художественных вкусов Пушкина.—„Байронизм“ Пушкина в жизни и отражение его в поэме „Кавказский пленник“.—Причины увлечения Пушкина поэзией Байрона во время поездки на Кавказ и в Крым.

С пребыванием в кругу семейства Раевских на Кавказе и в Крыму, в частности в Гурзуфе, предание связывает знакомство Пушкина с поэзией Байрона, оказавшей сильное влияние на жизнь и творчество поэта.

О байронических настроениях в поэзии Пушкина мы впервые находим упоминание в письме П. А. Вяземского.¹ На вопрос А. И. Тургенева, читал ли Вяземский элегию „Черное море“, последний отвечал: „Не только читал Пушкина, но с ума сошел от его стихов. Что за шельма! Не я ли наговорил ему эту Байронщизну:

„Но только не к берегам печальным
Туманной родины моей“.

Мне жаль, что в этой элегии дело о любви одной. Зачем не упомянул о других неудачах сердца? Тут было где поразгуляться“. Сам Пушкин, повидимому, соглашался с таким сближением: в изданиях „Стихотворений“ 1826 и

¹ „Остаф. арх.“, т II, стр. 104

1829 г. элегия была озаглавлена „Подражание Байрону“, а в тетради Капниста, ныне утерянной, имелся даже, как передает Л. Н. Майков,¹ эпиграф на английском языке, представляющий собою несколько измененный стих из „Чайльд-Гарольда“.

Как указано выше, элегия была набросана на бриге, во время переезда из Феодосии в Гурзуф, и это обстоятельство дает основание некоторым исследователям говорить о том, „что впервые узнал Байрона“ Пушкин лишь на Юге, и что до этого времени „Пушкин еще совсем не знал по-английски, а о Байроне имел только общее представление из бесед хотя бы с тем же Вяземским“.² Такое мнение надо безусловно считать неправильным: Пушкин познакомился с поэзией Байрона еще в Петербурге, где изучал уже и английский язык, что мы и постараемся доказать.

Первое упоминание о Байроне в русской литературе относится к 1818 году, когда в „Вестнике Европы“ появилось извлечение из женевского журнала „Bibliothèque Universelle“—„Обозрение нынешнего состояния английской литературы“. Но и до этого времени русские читатели, в большинстве своем дворяне, владеющие французским языком, уже могли познакомиться с некоторыми произведениями Байрона хотя бы по тому же женевскому журналу, где с 1817 г. печатались английские тексты en regard с французскими, или по французским изданиям; однако об увлечении поэзией Байрона в России до 1819 года мы нигде никаких указаний не находим. Широкий интерес к ней у нас создали лишь к 20-м годам те самые социально-политические процессы (усиление реакции, с одной стороны, с другой—революционные вспышки в различных местах Европы), которые привели либеральное дворянство к организации тайных обществ, к мысли о государственном перевороте. Эта оппози-

¹ М а й к о в.—Автографы Пушкина, принадлежащие графу П. И. Капнисту. Сборник Отдел. русского языка и слов. Акад. Наук, т. LXIV, № 5, стр. 6.

² М о р о з о в, П. О.—Примечания к стихотворениям 1820 г. Пушкин, ред. Венгерова, т. II, стр. 550.

ционно настроенная к правительству группа искала и находила в поэзии Байрона яркое выражение своей любви к свободе, протеста против существующего строя, сочувствия к угнетенным. На ряду с этим, в литературных кругах пробуждается интерес к Байрону, как к художнику-новатору. Документами, характеризующими восторженное отношение к Байрону в 19 году, являются дневник И. И. Козлова и переписка Вяземского, находившегося тогда в Варшаве, с А. И. Тургеневым.¹

Естественно предположить, что Пушкин, автор вольнолюбивых стихов, оппозиционно настроенный к правительству, с одной стороны, с другой—поэт, примыкавший к левому крылу литературного мира, заинтересовался Байроном, что первые сведения о нем поэт почерпнул из бесед с Жуковским и Тургеневым или из писем Вяземского к последнему. Вероятно, выражение Вяземского: „не я ли наговорил ему эту байронщизну“ намекает именно на его письма к Тургеневу. Однако нет никаких оснований предполагать, что таким поверхностным знакомством дело и ограничилось. Бартеневым записано ценное свидетельство Чаадаева о том, что поэт „начал знакомство с Байроном еще в Петербурге, где учился по-английски и брал для того у Чаадаева книжку Газлитта „Рассказы за столом (Hazlitt. Table-Talk)“.²

М. Цявловский указал, что это сочинение Газлитта вышло в Париже первым изданием лишь в 1825 году, а следовательно, заключает он, Чаадаев спутал время, когда у него брал эту книгу Пушкин.³

Не следует забывать, во-первых, что с поэзией Байрона Пушкин мог уже знакомиться, даже не зная английского языка, особенно с 1819 г., когда во Франции начинает выходить десятитомное собрание сочинений Байрона в переводе Амедея Пишо, а, во-вторых,—правильнее предполагать, что Чаадаев спутал не время,

¹ В „Старина и новизна“, кн. XI, помещены лишь выдержки из дневника Козлова.—„Остаф. арх“, т. I, стр. 326—327, 330—332, 334—336, 343.

² Бартенев, —Ор. cit, стр. 1140.

³ Цявловский, М.—Пушкин и английский язык. „Пушкин и его совр.“. Вып. XVII—XVIII, стр. 55.

а заглавие книги. К такому предположению нас приводят следующие соображения. В библиотеке Пушкина имеется книга Газлитта с целым рядом отметок,¹ следовательно, поэту незачем было брать ее у Чаадаева. Кроме того, расставшись с Чаадаевым в мае 1820 г., Пушкин мог увидеться с ним лишь в Москве через шесть лет, по возвращении из ссылки, когда Чаадаев вернулся из-за границы, где пробыл три года. В эти годы Чаадаев пережил тяжелый душевный перелом и, вернувшись в Москву, чуждался людей. Говорить не только о возобновлении былой дружбы, но даже о каких бы то ни было сношениях Чаадаева с Пушкиным до 1829 г., когда первого снова потянуло к людям, нет никаких данных; читать же по-английски Пушкин мог свободно уже в 1828 году. Следовательно, свидетельство Чаадаева в целом надо отнести к петербургскому периоду жизни поэта, и оно указывает время как первого знакомства Пушкина с поэзией Байрона, так и начала изучения поэтом английского языка.

Бартенев, описывая времяпрепровождение поэта в Гурзуфе, упоминает, что „Байрон был почти ежедневным его чтением. Пушкин продолжал учиться по-английски с помощью Раевского-сына“, и через несколько строк рассказывает о том, что поэт „восхищался переводами“ Ел. Ник. Раевской из Байрона и Вальтер-Скотта, уверяя, что они „чрезвычайно верны“.² Несколько отличается от показаний Бартенева свидетельство Анненкова. Последний пишет, что „под руководством Ел. Ник. Раевской и под руководством ее сестры, впоследствии княгини Волконской, принялся Пушкин на Кавказе за изучение английского языка, основания которого знал и прежде. Книга, которую они выбрали для практических упражнений, была „Сочинения Байрона“.³ В указании Анненкова есть неточность: Ел. Ник. Раевской на Кавказе в 1820 году

¹ Библиотека А. С. Пушкина. „Пушкин и его совр.“. Вып. IX—X, стр. 246.

² Бартенев.—Ор. cit., стр. 1115. Курсив наш.

³ Анненков. П.—Пушкин в Александровскую эпоху. 1874 г., стр. 151. Курсив наш.

не было; кроме того, свое участие в чтениях Байрона последняя отрицала, не опровергая однако самого факта таких чтений.¹ Поэтому можно считать твердо установленным лишь тот факт, что в Гурзуфе Пушкин читал Байрона на английском языке, и что в этих занятиях ему помогал Н. Н. Раевский-сын.

Чрезвычайно важно для вопроса о „байронизме“ Пушкина было бы установить, какие из произведений английского поэта были прочитаны Пушкиным во время поездки на Кавказ и в Крым. В элегии „Погасло дневное светило“ ряд исследователей видит подражание прочитанной Пушкиным на Кавказе IV песне „Чайльд-Гарольда“.² Этот отрывок из поэмы был любимыми стихами Вяземского и А. И. Тургенева,³ а потому естественно предположить, что поэт захотел познакомиться с ним прежде всего. Однако не следует забывать, что в элегии могло сказаться и посредственное влияние.⁴ Мог Пушкин ознакомиться с отрывками из „Чайльд-Гарольда“ еще и в Петербурге, т. к. они имеются в одном из первых томов издания Пишо, вышедших в 1819 году.⁵

Зато почти с полной достоверностью можно утверждать, что Пушкиным в это время был прочитан на английском языке „Корсар“. Мицкевич в некрологе, вероятно, со слов самого Пушкина, говорит, что последний почувствовал себя поэтом, прочитав это произведение. Свое поэтическое призвание Пушкин сознавал еще юношей, и свидетельство Мицкевича надо понимать лишь

¹ Грот, Я.—Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, 2-ое изд. 1899 г., стр. 52—53.

² Майков, Л.—Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб. 1899, стр. 141; Дашкевич, Ник. Пав.—Статьи по новой русской литературе. Сборник Отд. рус. яз. и слов. Ак. Наук, т. ХСII, стр. 221.

³ „Остаф. арх.“, т. I, стр. 334.

⁴ Морозов, П. О.—Примечания к стихотворениям 1820 г. Пушкин, ред. Венгерова, т. II, стр. 549—550. Чтец.—Пушкин и Батюшков. „Новое время“. 1900, № 8890. Н. П. Дашкевич указывает еще совпадения с элегией Парни „Sa chagrin devorant a flétri ma jeunesse“ (Сборник Отделения русск. языка и слов. Академии Наук, т. ХСII, стр. 347, примечание 8).

⁵ Веселовский, А.—Этюды и характеристики, стр. 393.

в том смысле, что Байрон, в частности поэма „Корсар“, открыли перед Пушкиных новые широкие горизонты в поэзии. Еще незадолго до отъезда из столицы Пушкин закончил поэму „Руслан и Людмила“. Если эта поэма написана в духе Ариосто и его многочисленных подражателей, то следующая по времени, „Кавказский пленник“, начатая в Гурзуфе 24 августа, приводит нас уже к Байрону. Художественные вкусы Пушкина в течение нескольких месяцев резко изменились: от шуточной, фантастической поэмы с обширным псевдонародным сюжетом, распадающимся на несколько ветвей, богатыми действующими лицами и эпизодами, он приходит к лирической поэме с новеллистическим сюжетом, в которой повествование сосредоточено вокруг одного события внутренней жизни героя; от последовательности в изложении он приходит к „вершинности“, отрывочности, недосказанности; от сказочной фантастики обстановки—к этнографическим мотивам.

Далее, Жирмунский указал на целый ряд существенных совпадений мотивов в „Кавказском пленнике“ и поэме „Корсар“, после чего не может быть сомнений, что последняя была прочитана Пушкиным раньше, чем он приступил к созданию первой „южной“ поэмы.¹

В словаре Gerard'a указано, что „Корсар“ был переведен на французский язык лишь в 1825 году, а потому пока документально не будет установлено, что это „*сcагтеп тгипһагё*“ имелось в издании Пишо, мы вправе заключать, что Пушкин читал его в подлиннике. При слабом знании английского языка Пушкиным и Н. Н. Раевским² поэма не могла быть прочитана в Гурзуфе в течение 5—6 дней; едва ли, в связи с событиями в личной жизни, она могла быть прочитана Пушкиным и до поездки на Кавказ. Таким образом, более вероятным будет предположение, что к чтению „Корсара“ Пушкин приступил еще на Кавказе, а в Гурзуфе, может быть, лишь закончил его.

¹ Жирмунский, В.—Байрон и Пушкин. Л. 1924, стр. 37—40, 47—48, 65, 130, 155—156

² Филлипсон, Григ. Ив.—Воспоминания. Москва, 1885, стр. 155.

Мы указали уже на изменение художественных вкусов Пушкина в связи с чтением Байрона. Однако этим чисто литературным влиянием дело не ограничивалось. Пушкин стремился осуществить любезный ему в те годы романтический идеал не только в искусстве, но и в жизни. Следы романтической настроенности Пушкина в описываемый период можно найти в письме к брату: упоминая о многочисленном конвое с заряженной пушкой, который сопровождал поезд Раевского во время переезда с Кавказа в Крым, Пушкин замечает: „Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению“.

Сам поэт искренно верил в то время, что он похож на героев Байрона, Шатобриана и др. романтиков. Изображая Кавказского пленника, потерявшего чувствительность сердца, Пушкин не столько прибегал к подражанию чужеземным образцам, сколько писал портрет с себя, каким он в ту пору казался себе.

Посвящая поэму своему другу Н. Н. Раевскому-сыну, Пушкин говорит:

„Ты здесь найдешь воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противоречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей“.¹

Сохранился черновик письма Пушкина к Гнедичу от 29 апреля 1822 г.,² где поэт, указывая на ряд недостатков „Кавказского пленника“, в заключение снова признается: „люблю его, сам не зная за что, в нем есть стихи моего сердца“. Выделить стихи пушкинского сердца можно, сопоставив поэму с лирическими стихотворениями того же времени. Ближе всего по настроению к поэме подходят стихотворения, связанные с пребыванием Пушкина в Крыму: „Погасло дневное светило“ и „Мне вас не жаль, года весны моей“, а также более позднее „Я пережил свои желанья“, которое первоначально входило даже в текст поэмы. Все эти стихотворения, проникнутые элегическим чувством тоски и разочарования, не заключают

¹ Курсив наш.

² Пушкин — Письма, т. I, стр. 28—29.

в себе ничего специфически байроновского и сходны по настроениям с рядом более ранних стихотворений Пушкина. „Поэзия мрачная, богатырская, сильная“, какой являлась несколько позже в представлении Пушкина поэзия Байрона,¹ в стихах не отразилась вовсе, в поэме же отразилась в ряде эпитетов („грозный“, „бурный“), в гордом, одиноком страдании героя, в грезях о свободе вне цивилизованного общества и внесла только противоречия в образ пленника. Те же противоречия мы находим не только в жизни пленника, но в ту пору и в жизни самого Пушкина. С одной стороны, Пушкин сам признается, что в Гурзуфе он провел „счастливейшие минуты своей жизни“, что он „наслаждался“ полуденной природой, что сердце его „сжалось“ и он начал „тосковать о милом полудне“, как только перевалил через горы и заметил северную березу; с другой—нас поражает в то время у Пушкина какая-то мертвенность духа, безразличие к ощущениям внешнего мира, равнодушие к тем местам, которые четыре года спустя, очарованные воспоминаниями, имеют для него „прелесть неизъяснимую“. Несколько позже Пушкин сам понял свою неудачную игру в байронизм и в письме к кишиневскому приятелю кн. В. П. Горчакову признался в этом: „характер пленника—неудачен; это доказывает, что я не гожусь в герои романтического стихотворения“.²

Еще задолго до отъезда из столицы, как указая В. Д. Спасович, у Пушкина временами сказывается неудовлетворенность рассеянной петербургской жизнью, и в его стихах все чаще и чаще звучат ноты тоски и разочарования. В эти же годы у поэта заметно нарастает и оппозиционное настроение к европейской действительности, протест против существующего социального строя, любовь к свободе. Выше уже были указаны социальные причины, породившие эти настроения и пробудившие к 20-м годам интерес к поэзии Байрона не только у Пушкина, но и в широких кругах либерального дворянства. Однако не следует упускать из виду и обстоятельств личной жизни поэта,

¹ Пушкин.—Письма, т. I, стр. 16.

² Там же, стр. 25.

которые также способствовали зарождению и развитию у Пушкина указанных настроений и также приводили его к поэзии Байрона. Об этих последних поэт говорит хотя бы в элегии „Погасло дневное светило“ и в посвящении к „Кавказскому пленнику“. Но, несмотря на наличие благоприятной психологической почвы еще в петербургский период, влияние Байрона на Пушкина заметно сказалось лишь во время пребывания поэта в Крыму. Большинство исследователей усматривают главную причину этого в ссылке, которая поселяла в душе Пушкина мрачные мысли и чувство глухого раздражения.

Однако, говоря о душевном состоянии поэта не только во время путешествия по Кавказу и Тавриде, но даже и в первый год жизни в Кишиневе, следует подчеркнуть у Пушкина чувство свободы и уверенность, что он сам „бежал“ стеснительных оков петербургского света. Обратимся к поэтическим свидетельствам:

I. „Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отчески края“.
(„Погасло дневное светило“, 1820)

II. „Твой глас достиг уединенья,
Где я сокрылся от гоненья
Ханжи и гордого глупца“
(„К Гнедичу“, 1821)

III. „... . . . Изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил“.
(„К Овидию“, 1821)

IV. „И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину“
(„Чаддаеву“, 1821)

Интересно отметить, что и пленник, alter ego Пушкина, тоже покидает родину добровольно, не сожалея о том:

„Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы“.
(„Кавказский пленник“, 1820—21 г.)

Даже несколько позже, когда для Пушкина уже временами становилось ясно, что его перевод по службе не что иное, как ссылка, поэт продолжает говорить о добровольном отъезде из столицы. Напр.:

„Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец“.

(„Бахчисарайский фонтан“, 1823 г.)

Наконец, в послании к Языкову 1824 года Пушкин противопоставляет ссылку в селе Михайловском жизни в Кишиневе и Одессе: „всегда гоним, теперь в изгнаныи“¹.

Эти свидетельства находятся в противоречии с последующими фактами жизни поэта, а поэтому требуют объяснения. В препроводительном письме к Инзову ни слова не упоминается о ссылке. Карамзин, сообщая Вяземскому, что Пушкин „благополучно поехал в Крым месяцев на пять“, прибавляет: „Он был кажется тронут великодушием государя, действительно трогательным“.² Сообщает Вяземскому о „царской милости“ и Тургенев, говоря, что с Пушкиным „поступлено по-царски в хорошем смысле этого слова“.³ Таким образом, друзья и покровители поэта, хлопотавшие о нем, искренно верили, что Александр I великодушно простил Пушкину его „возмутительные стихи“, и не рассматривали перевод по службе, как ссылку. Нет никаких оснований предполагать, что сам Пушкин смотрел на свой отъезд из Петербурга иначе. Но если отъезд Пушкина был добровольный, то пребывание поэта на юге с течением времени превратилось в ссылку, благодаря запросам, разъяснениям и тайным инструкциям из Петербурга.⁴ Вот почему чувство свободы и уверенность Пушкина в том, что он добро-

¹ Курсив в цитируемых стихотворениях везде наш.

² „Старина и новизна“, кн. I, стр. 101.

³ „Остаф. архив“, т. II, стр. 36.

⁴ Напр., запросы по высочайшему повелению от 13 апреля 1821 г. о поведении и занятиях Пушкина и от 19 ноября 1821 г. о поведении, занятиях и прикосновенности Пушкина к масонским ложам, с подтверждением иметь за его „поведением и деяниями самый строгий надзор“.

вольно покинул север, во время пребывания поэта в Крыму вполне естественны и правдивы.

В связи с этим в крымских переживаниях поэта незаметно даже намеков на протест и возмущение, на чувство глухого раздражения. Какая-то умиротворенность и тишина, словно после бури, царила в душе Пушкина в Крыму, и об этом он не раз вспомнил в своих стихах:

„Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень“.

(„Редееет облаков летучая гряда“, 1821)

„Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина“

(„Чаадаеву“, 1824)

В черновиках 1822 года сохранились отрывки стихотворения „Таврида“, а перед ними набросано несколько строк, в которых поэт так характеризует свое душевное состояние во время пребывания в Крыму: „Страсти мои утихают, тишина цар(ит) в душе моей, ненависть, раскаяние, все исчезает,—любовь, одушев(ление)“.

Следовательно, не „бурная мечта ожесточенного страдания“, не протест против социального насилия приблизили в это время Пушкина к поэзии Байрона.

Прежде всего надо указать, что самое путешествие создавало у Пушкина романтическую настроенность и делало для него британского поэта и ближе и понятнее в условиях русской действительности. Во время переезда по южно-русским степям Пушкин, вероятно, не раз слышал рассказы о похождениях разбойничьих шаек, об их атаманах, встречал типы, напоминающие о „лихих людях“ былых времен.¹ Когда путешественники ехали „в виду неприязненных полей свободных, горских народов“, их сопровождал многочисленный конвой из казаков, которые „вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности“. Уже на Минеральных Водах он наблюдал жизнь полудиких племен, „возросших на войне“,

¹ Майков Л.—Пушкин, стр. 153—154.

слышал „преданья грозного Кавказа“. Все эти впечатления были для светского молодого человека необычайны, вызывали у него чувство чрезвычайности, заставляя увлекаться и легче верить художественным вымыслам Байрона, порой подсказывая даже соответствие их с окружающей жизнью. Большую роль при этом сыграла грандиозная и могучая природа Кавказа и Крыма. Она не только давала наглядные впечатления для уяснения экзотического пейзажа Байрона, но и гармонировала с духом „мрачной, богатырской и сильной“ поэзии. О своих впечатлениях от кавказской природы Пушкин говорит в эпилоге к „Руслану и Людмиле“:

„Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немymi
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой“.¹

Правда, „груды гор“ в Крыму не производят уже такого величественного впечатления, как „престолы вечные снегов“ — горы Кавказа, но здесь море пробуждало у Пушкина чувство стихийности и снова приближало его к поэзии Байрона. Недаром поэт, прощаясь с морем, Байрона назвал певцом его:

„Твой образ был на нем означен;
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим“.²

{„К морю“, 1824}

Итак, если светская жизнь в Петербурге с ее кругом мыслей, чувств и желаний, подчас „взятых из Флориана и Легуве“, приводила Пушкина к французской поэзии, порой напыщенной, порой „робкой и жеманной“, то путешествие на Кавказ и в Крым дало поэту новые яркие впечатления, оживило его фантазию, открыло перед ним новые горизонты жизни и привело к поэзии Байрона.

¹ Курсив наш.

² Курсив наш.

Пушкинские места в Гурзуфе. — Заключение Бертье-Делагарда. — Дополнение Д. Соколова.—Пушкинская скала в Гурзуфе.—Вопрос о включении в число Пушкинских мест деревенского фонтана.

Возвращаясь к основной линии изложения, мы должны остановиться еще на одном вопросе, связанном с пребыванием Пушкина в Гурзуфе: сохранилась ли там память о поэте до настоящего времени? Теперь обычно экскурсантам в Гурзуфе показывают дом, где жил Пушкин, называя иногда даже одну из комнат нижнего этажа Пушкинской, которая, кстати сказать, во времена поэта еще не существовала, т. к. поперек ее проходила стена, поддерживающая стену верхней комнаты.¹ Имя Пушкина присваивают также одному из трех кипарисов и платану,² растущим возле дома, скале, на которой приметны остатки древней крепости, и пещере, находящейся в соседнем местечке Суук-Су, попасть в которую можно лишь на лодке с моря. А. Л. Бертье-Делагард впервые критически подошел к вопросу о Пушкинских местах в Гурзуфе и пришел к заключению, что „память о Пушкине в Гурзуфе нигде и ни в чем не сохранилась, как и следовало ожидать; ее можно приурочить только к кипарису, но и то руководствуясь лишь словами самого поэта, а не на основе местной памяти. Пожалуй, еще и деревенский фонтан имеет некоторую связь с памятью о Пушкине, а прочее, указываемое в этом смысле, занесено почитателями поэта извне, без самонаименования“.³ Д. Соколов пополнил краткий перечень Бертье-Делагарда, указав на маслиновую рощу, расположенную на берегу моря, между деревней Гурзуф и домом, где жил Пушкин.⁴ К этой роще Соколов относит стихи из „Нереиды“:

¹ Бертье-Делагард.—Ор. сіт, стр. 141.

² Этот платан никакого отношения к Пушкину не имеет, т. к. был посажен уже в конце 30-х годов (Домбровский.—Обзор Южного берега Крыма, „Новороссийский Календарь“. Одесса, 1850, стр. 20).

³ Бертье-Делагард.—Ор. сіт, стр. 155.

⁴ Соколов, Д.—К вопросу о Пушкинских местах в Гурзуфе. „Пушкин и его совр.“, вып. XXIII—XXIV, стр. 195—199.

„Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Скрытый меж оливок, едва я смел дохнуть“,

а также предположительно 26 стих „Желания“:

„В тени оливок уснувшие стада“,

и отрывок 1820 года:

„Там на берегу, где дремлет лес священный,
Твое я имя повторял,
Там часто я бродил уединенный
И в даль глядел... и милой встречи ждал“.

Если говорить о Пушкинских местах, руководствуясь не местной памятью, а указаниями самого поэта, то к ним следует еще причислить скалу, т. к. в записной книжке Пушкина 1820—21 гг. в одной из первоначальных редакций стихотворения „Желание“ можно разобрать следующие строки:

„Как я любил над блещущим заливом
Развалины, венчанные плющем“.¹

Слово „любил“ показывает действие длительное, и поэтому можно заключить, что отрывок связан с пребыванием Пушкина в Гурзуфе. Кто же бывал в Гурзуфе, тот, конечно, знает, что никаких развалин „над блещущим заливом“, кроме остатков древней крепости на так называемой Пушкинской скале, там не имеется.

Кроме этого дополнения, мы должны сделать еще некоторые замечания относительно включения в число Пушкинских мест в Гурзуфе деревенского фонтана. В Ленинском (б. Румянцевском) музее сохранился автопортрет Пушкина, на котором поэт изобразил себя опирающимся на стенку фонтана. Бертье-Делагард в своей статье пишет: „Пушкин изобразил самого себя опирающимся на стенку деревенского фонтана в Гурзуфе“. И дальше прибавляет: „Здесь всегда фонтан был один, на том же месте“.²

¹ Пушкин, ред. В. Брюсова, т. I, ч. I, стр. 388.

² Бертье-Делагард.— Op. cit, стр. 153—154.

В настоящее время, как и во времена Пушкина, в Гурзуфе существует два фонтана, но ни один из них не похож на изображенный Пушкиным на рисунке. Правда, оба фонтана с 20-х годов прошлого столетия подвергались исправлениям, и возможно, что внешний вид их с тех пор значительно изменился. Но, кроме этого, обращает внимание на рисунке отсутствие надписи на фонтане, в то время как на гурзуфских фонтанах они во времена Пушкина безусловно существовали: во-первых, надписи с различными изречениями из Корана и именами устроителей делаются на всех фонтанах Востока, а, во-вторых, если бы их во времена Пушкина не было, они не могли бы быть повторены при ремонте фонтанов.

Принимая во внимание указанные факты, мы вовсе не отрицаем возможности, что на рисунке изображен один из гурзуфских фонтанов, но считаем, что даже и эта возможность должна быть чем-то обоснована. Когда такое обоснование будет дано, явится новый вопрос: какой же из двух гурзуфских фонтанов можно именовать Пушкинским?

III. ПУТЕШЕСТВИЕ ПУШКИНА ПО КРЫМУ

(Южный берег. Бахчисарай. Симферополь)

1

Дата отъезда Пушкина из Гурзуфа.—Маршрут и путевые впечатления поэта.—Георгиевский монастырь и развалины храма Артемиды.—Миф об Атридах и знакомство с ним Пушкина.—Заезжал ли Пушкин в Севастополь?

Из Гурзуфа Пушкин проехал не прямым путем до Симферополя, чтобы, получив там подорожную, следовать дальше, на место своей службы, в Кишинев, а вместе с Н. Н. Раевским-старшим и его сыном направился верхом по тропам Южного берега до Кикенеиза, отсюда перевалил по горной лестнице, которая у татар носит название „Шайтан-Мердвеня“, через Яйлу, затем снова спустился к морю, чтобы осмотреть Георгиевский монастырь, и уже потом поехал через Бахчисарай в Симферополь. Этот маршрут указан самим поэтом в письме к Дельвигу и в те времена при плохом состоянии путей сообщения мог быть осуществлен лишь в 3—5 дней. Исходя из этого соображения, можно довольно точно определить время отъезда Пушкина из Гурзуфа по дневнику Геракова. Последний отмечает 8 сентября, что дважды виделся в этот день в Симферополе с приехавшим генералом Раевским. Следовательно, путешественники покинули Гурзуф 3—5 сентября. Эти вычисления весьма близки к показанию самого Пушкина, что в Гурзуфе он прожил „три недели“, которое однако не следует понимать с буквальной точностью.

На основании описаний подобных поездок по южному берегу Тавриды, оставленных нам другими путешествен-

никами первой четверти 19-го века, можно предполагать, что Пушкин и его спутники из Гурзуфа до Никитского сада ехали по берегу моря, т. к. это был самый скорый путь. Кроме того, вся поездка была вызвана желанием осмотреть достопримечательности края, а Никитский сад уже славился и в те времена. Отсутствие же упоминаний о нем у поэта отчасти можно объяснить тем, что Пушкину вообще были чужды интересы натуралиста, и к природе он подходил прежде всего, как художник.

От Никитского сада и до самой Ялты путь шел по горе вдаль от моря, т. к. прибрежные склоны были покрыты непроходимым вековым лесом. Ялта в те времена была маленькой деревушкой и ничем не могла привлечь внимания путешественников, хотя они обычно здесь и останавливались для отдыха или ночлега. По всей вероятности, и дальше от Ялты удобных для проезда троп по берегу моря не было, т. к. у ряда путешественников мы находим упоминания, что они, сразу поднявшись в гору через греческий поселок Аутку, ехали от моря на значительном расстоянии. Путь на Алупку шел „удобными и веселыми местами“ через небольшие селения Мисхор, Кореиз и Гаспру, т. е. приблизительно там, где ныне пролегает Верхнее шоссе. Только не доезжая несколько верст до Алупки, путешествуя снова приходилось пробираться „через вертепы и пропасти“, но самый опасный переезд, который на путешественников „одним помышлением о нем наводил трепет“, начинался уже за ней, между Симеизом и Кикенеизом. Там скалы, заграждая путь, нависали над головой путника, которому приходилось пробираться узкой тропкой по самому краю обрыва. Однако у Пушкина этот „страшный переход... по скалам Кикенеиза не оставил ни малейшего следа... в памяти“.

Чтобы проехать дальше по берегу и осмотреть Байдары, Балаклаву и Георгиевскую обитель, путешественники Пушкинских времен должны были перевалить через Яйлу, т. к. другой дороги, как теперь, между Яйлой и берегом моря тогда еще не существовало. Уже верстах в трех от Кикенеиза тропа начинала возвышаться, прибли-

жаясь к Яйле и переходя затем в высеченную в скале лестницу с чрезвычайно крупными ступенями. Эта лестница, или, как ее называют татары, Шайтан-Мердвень, имеет до 600 метров в длину и до 40 крутых поворотов, и переезд по ней у путешественников обычно вызывал жуткие переживания. У Пушкина же восхождение на Мердвень не оставило сильного впечатления. „По Горной Лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным, восточным обрядом“. За Яйлою отлогий спуск шел по водопромоинам, наполненным нанесенной землей и камнями, в густом буковом лесу. Первый предмет, поразивший здесь Пушкина, была северная береза. „Сердце мое сжалось, и я начал уже тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи и виноградные лозы“,—признается поэт. И тополи и виноградные лозы Пушкин видел, конечно, уже в Байдарской долине. Эта долина, „слишком прославленная“ еще со времен Потемкина, которую „путешественники взапуски перевозили“, с тех пор, как туристам стал доступен Южный берег, потеряла частицу своего очарования. Ни у Муравьева-Апостола; ни у Грибоедова она уже не вызывает восхищения; у Пушкина же мы находим о ней лишь это косвенное упоминание.

Дальнейший путь Пушкина в Георгиевский монастырь лежал через Байдары и Балаклаву, но о них Пушкин в письме вовсе не упоминает, хотя в последнем городке в те времена проживал греческий батальон, несший службу на карантинных заставах, и путешественников обычно поражал своеобразный быт этого греческого уголка на берегу Черного моря. Единственное сильное впечатление во время поездки по „полуденному берегу“ у него оставил лишь Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю.

Георгиевский монастырь, как и Байдарская долина, был тогда одним из прославленных уголков Тавриды. Этому способствовали как древность обители, так и ее месторасположение. На самом краю крутого уступа, по кото-

рому для схода вниз, к морю, сделана лестница, лепятся к горе несколько бедных строений, келий монахов, и небольшая церковка, соединенные между собой узкой высеченной в скале и висящей над пропастью террасой. Над кельями видны в горе осыпающиеся пещеры, где некогда спасались отшельники, да небо. Внизу недалеко от берега из воды высится Георгиевская скала, и вечно пенятся вокруг нее волны. Эта картина очаровала не одного Пушкина, но и других путешественников, современников поэта.

Побывал Пушкин и в трех верстах от монастыря, на мысе Фиолент. В те времена считалось, что этот мыс соответствует упоминаемому Страбоном Партениону¹, где некогда находился храм Артемиды (Дианы), в котором, по преданию, тавро-скифские народы приносили в жертву богине потерпевших кораблекрушение путешественников. Греческий миф рассказывает о том, как Ифигения, жрица храма, едва не принесла в жертву своего брата Ореста, связанного тесной дружбой с Пиладом, и как эта дружба, доходящая до самопожертвования, спасла от смерти обоих путешественников. В честь этого события недалеко от храма Артемиды был построен памятник дружбы, храм Орестеонов. „Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы“, замечает в письме Пушкин. „Видно мифологические предания счастливей для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они“. И дальше следовало стихотворение, навеянное мыслью о дружбе Ореста и Пиллада и посвященное Чаадаеву: „К чему холодные сомненья“. Уже в лицейских стихотворениях Пушкина обращает на себя внимание короткое знакомство поэта с античной мифологией. Это знакомство являлось следствием как чтения Пушкиным Французской классической поэзии, так и тог-

¹ Впервые такое предположение было высказано, кажется, Сестренцевичем на основании описания местности, где находился храм, Страбоном, Геродотом, Овидием и Лукианом (Sestrenczewicz de Bohusz, Stanislas. *Histoire du royaume de la Chersonèse Taurique*. Brunswick, 1800. Т. I, p. 68—71 и в русском переводе СПб, 1806, т. I. стр. 83—86).

дашнего воспитания вообще, когда знать „дней минувших анекдоты“ считалось необходимым каждому образованному человеку. Об Ифигении, Оресте и Пиледе Пушкин мог прочесть у Овидия Назона¹, но „Ex Ponto“ были далеко не единственным возможным источником знакомства поэта с мифом. Уже в 18 веке миф об Атридах привлекал внимание целого ряда писателей: во Франции он послужил темой для пьес Вовертрана, Лагранж-Шанселя и Гимон де ла Туш'а, не говоря уже о невыполненном литературном замысле Расина; в Германии четырежды обрабатывал его Гете;² у нас в России в связи с политическими событиями этот миф приобретает особое значение: в 1768 году выходит на трех языках драма Марка Колтеллини „Ифигения в Тавриде“, которая даже была поставлена на сцене в Петербурге в день рождения Екатерины II.³ Пробуждение интереса к мифу повлекло за собой включение последнего и в учебники мифологии, а поэтому миф мог быть известен Пушкину и помимо Овидия.

Из Георгиевского монастыря до Бахчисарая, следующего пункта, указанного в письме Пушкина, в те времена можно было ехать двумя путями. Первый путь шел через Севастополь, далее по берегам реки Бельбек до де-

¹ Ex Ponto, lib. III. Ep. 2.—Ovide. Oeuvres complètes d'Ovide. Paris. An. VII (1799). Это семитомное издание имеется и в библиотеке Пушкина („Пушк. и его совр.“, вып. IX—X, стр. 304). Кроме того, по свидетельству И. П. Липранди, первое сочинение, взятое у него Пушкиным в Кишиневе, был Овидий (И. П. Л и п р а н д и.— Из дневника и воспоминаний. „Рус. арх.“. 1866, №№ 8—9, стр. 1261). Поэтому, если датировать послание к Чаадаеву 1824 годом, о чем будет речь ниже, то следует признать, что одним из источников, по которым Пушкин ознакомился с мифом, безусловно был Овидий.

² Одновременно с пьесой Гете появилась и опера Глюка (текст Гилляра) „Iphigénie en Tauride“. Как и пьеса Гете, опера не сходилась еще с немецкой сцены и в первой четверти XIX в. До этого времени имелась одноименная опера Дюше и де Мореста, поставленная впервые еще в 1704 г., но оконченная уже потом двумя другими авторами: Данше и де Кампра.

³ Coltellini, Marco. Ifigenia en Tauride, dramma recitato in St—Petersb. gli Aprile 1768 giorno anniversario della nascita di S. M. Imp. Catarinae II. (Italien et francais). St—Petersbourg. 1768.— Id. Italien seul. 1768.— Id. Italien et russe, 1768.

ревни Дуванкой, после которой, сначала круто поднявшись в гору, путешественники уже до самого Бахчисарая нечувствительно спускались вниз. Этот путь исчислялся в 40 верст и шел сравнительно удобными и живописными местами. Другой путь шел через Чоргуны, Шули, Мангуп и Каралез. Этот путь был не длиннее первого, но тропа большею частью пролегла в узких ущельях, замкнутых отвесными утесами, и только после Каралеза переходила в дорогу, по которой можно было проехать даже в экипаже.

Отсутствие у Пушкина каких бы то ни было упоминаний о Севастополе и флоте заставляет исследователей предполагать, что Пушкин и Раевские проехали в Бахчисарай вторым путем. Едва ли это так. Уже было сказано, что вся поездка по побережью была вызвана желанием осмотреть достопримечательности Крыма, и с этой точки зрения Севастополь для Раевских представлял особый интерес, не говоря уже о том, что и дорога оттуда до Бахчисарая была значительно удобнее и живописнее, чем через Мангуп, и что путешественникам, избравши этот путь, не приходилось от Георгиевского монастыря опять возвращаться несколько назад. Не объясняется ли отсутствие у Пушкина упоминаний о Севастополе нездоровьем поэта, т. к., по словам письма, „в Бахчисарай он приехал больной“, а следовательно могло случиться, что ни Севастополя, ни флота не осматривал.

2

Бахчисарай в 20-х гг. прошлого столетия.—Ханский дворец и впечатления от него Пушкина.—Происхождение легенды о Бахчисарайском фонтане.—Знакомство Пушкина с легендой еще в Петербурге.—Байрам.—Ночлег в Бахчисарае.

Бахчисарай, бывший центр Крымского ханства, живописно расположен между двух возвышенностей, в глубокой теснине реки Чурук-Су. В 20-х годах прошлого столетия это был один из самых населенных пунктов в Крыму: по свидетельству Геракова, в нем насчитывалось 11 тысяч жителей. Главная и лучшая часть города состояла

из улицы, длиною в три версты, ведущей от Каменных ворот до ханского дворца, так называемого Хан-Сарая. Эта улица представляла собой в городе торговый и промышленный центр; по сторонам ее располагались низенькие азиатские строения, в которых, при открытых дверях и окнах, на столах и скамьях сидели, поджавши под себя ноги, купцы и ремесленники, занимаясь каждый своим делом: мелкой торговлей или выделкой различных изделий из сафьяновой кожи и ножей из весьма прочной стали.

В 20-х годах, как и в настоящее время, достопримечательностью города являлся ханский дворец, но и тогда уже он сохранял мало следов старины. Еще в 1736 году, во время похода гр. Миниха, войска, ворвавшись в город, сожгли часть построек, в том числе и ханские палаты, и вырубили всякие сады в обширном гаремном дворе. Позже Шагин-Гирей, последний крымский хан, покидая свою столицу, вывез с собой все ценное, что уцелело от огня и грабителей. Правда, уже в 1783 году, по мысли Потемкина, к приезду Екатерины II была произведена первая реставрация дворца, но крайне неумело: дворец не столько восстанавливался, сколько в некоторых частях своих перестраивался для того, чтобы Екатерина, остановившись в нем, могла найти комфорт и удобства. При такой „реставрации“ часто нарушался не только план дворца, но даже и общий стиль. Тогда же из фонтанной в верхние покои была устроена новая лестница, вместо прежней крутой и узкой, и, чтобы место внизу около лестницы, занятое прежде дверью, не оставалось пустым, был сооружен фонтан, воспетый позже Пушкиным.

После проезда Екатерины II о дворце забыли и вспомнили снова лишь в 1818 году, перед приездом в Крым Александра I. К этому времени „забвенью брошенный“ дворец настолько обветшал, что 70 гаремных комнат пришлось совсем разобрать. Тогда же явилась мысль отремонтировать дворец, но к ее осуществлению приступили лишь четыре года спустя.

В таком печальном виде и застал дворец Пушкин. „Я обошел дворец с большой досадою на небрежение,

в котором он истлевают, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. NN (можно предполагать: один из Раевских) почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище”, — пишет Пушкин Дельвигу. Уже за оградой ханского кладбища обращает на себя внимание семиугольное тюрбе, в котором погребена любимая невольница Крым-Гирей-Хана — грузинка Дилара. На мавзолее имеются две надписи: „Да будет милосердие Божие над Диларою. 1178“ (1764 г.) и „Молитву за упокой души Дилары-Бикеч“. В том же письме к Дельвигу Пушкин признается, что об этом памятнике ханской любовницы он не вспомнил (в первом черновике имеются еще зачеркнутые слова: „и не знал“), „когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался“.

В связи с именем Пушкина во дворце особое внимание привлекает уже упомянутый выше фонтан „Сельсебийль“ (райский источник). „Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описала мне его, называя la fontaine des larmes. Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода“, — так неприглядно описывает Пушкин в письме к Дельвигу тот фонтан, с именем которого связаны его поэма, стихотворение „Фонтану Бахчисарайского дворца“ и ряд черновых отрывков.

В одном из писем Пушкин признался, что в поэме „Бахчисарайский фонтан“ он лишь „суеверно переключивал в стихи рассказ молодой женщины“:

„Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve“.¹

Однако это предание о любви татарского хана к похищенной княжне Потоцкой является не художественным вымыслом отдельного лица, а крымской легендой. Постараемся, насколько это возможно, выяснить те факты, на основании которых выросла эта легенда, а также проследить пути ее развития.

¹ Письмо к А. А. Бестужеву из Одессы от 8 февр. 1824 г. Пушкин и н. — Письма, т. I, стр. 71.

Пушкин, посылая „Бахчисарайский фонтан“ Вяземскому, просил последнего написать предисловие или послесловие к поэме. Вяземский, по причинам личного характера (он в это время как раз увлекался знаменитой красавицей, женой генерала Пав. Дм. Киселева, урожденной гр. Потоцкой), сначала хотел коснуться в предисловии предания, о котором рассказывается и в поэме,— о похищении одной из представительниц рода Потоцких крымским ханом, но все его исторические разыскания в этом направлении не увенчались успехом. Тогда он 18 ноября 1823 года обратился письмом в Петербург к А. И. Тургеневу: „...расспроси, не упоминается ли где-нибудь о предании похищенной Потоцкой татарским ханом и наведи меня на след. Спроси хоть у сенатора Северина, Потоцкого или архивиста Булгарина“. Тургенев, как видно из ответного письма, никаких особых попыток, чтобы исполнить просьбу друга, не делал: „О романе гр. Потоцкой спросить не у кого..., происшествие, о котором пишешь, не графини Потоцкой, а другой, которой имя не пришло мне на память“.¹ Последние слова письма показывают, что какая-то легенда о похищении красавицы татарами и о любви к ней крымского хана в русском обществе в начале 20-х годов существовала, но связывалась она не с именем Потоцкой. Приблизительное содержание легенды и имя героини мы находим у Муравьева-Апостола, который, описывая тюрге Дилары, рассказывает следующее: „Новая Заира, силой прелестей своих, она повелевала тому, кому все здесь повиновалось; но не долго: упал райский цвет в самое утро жизни своей, и безотрадный Керим соорудил любезный памятник сей, дабы ежедневно входить в оный и утешаться слезами над прахом незабвенной“. Ни о Диларе, ни о любви к ней хана мы нигде не находим никаких исторических свидетельств, и лишь надписи на необычном для ханских наложниц мавзолее дают возможность предполагать, что какая-то Дилара, по всей вероятности, как показывает ее имя, грузинка по происхождению, а следовательно, быть может, христианка, была любимицей

¹ „Остаф. арх.“, т. II, стр. 367—368.

хана. Этот исторический факт и является тем зерном, из которого выросла легенда о Бахчисарайском фонтане.¹

На ряду с первой поэтической обработкой сюжета о ханской любви к пленнице, которая ведет свое начало с шестидесятых годов 18-го столетия, т. е. со времени смерти Дилары, и которая даже в полной мере не была оригинальна, так как сюжет ее в основных своих чертах является „бродячим“, в Бахчисарае в 20-м году существовала вторая, сходная с ней, обработка того же сюжета, в которой однако уже говорилось о Потоцкой.

Муравьев-Апостол рассказывает, что ему пришлось спорить с местными жителями, которым непременно хотелось, чтобы красавица, погребенная в тюрбе, „была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая“, и что все его доводы в этом споре остались бесполезны, так как татары „стояли в одном: красавица была Потоцкая“.² Эта вторая обработка, отличавшаяся от первой, может быть, лишь именем героини, как видно из переписки Вяземского с Тургеневым, в русском обществе в 20-ые годы известная не была, в то время как в Бахчисарае уже основательно забыли о Диларе.

Интересно отметить, что в поэме Пушкина имя Потоцкой связывается не с мавзолеем, о котором поэт даже не вспомнил, а, может быть, и не знал, а с фонтаном „Сельсебийль“, сооруженным уже в 80-х годах 18-го века. Это обстоятельство дает возможность приблизительно установить начало второй обработки легенды. У Мурзакевича,³ а затем у Домбровского, автора обстоятельной статьи о Бахчисарайском дворце, напечатанной

¹ Ив. Федоров в статье „Невольница Крым-Гирея“ („Истор. вест.“ 1890, № 5, стр. 321—331) указывает, что поводом к возникновению легенды послужила любовь Гирея к красавице-гречанке Диноре-Хионис. Целый ряд соображений, которые мы не высказываем только потому, что рассказ Федорова вообще не пользуется доверием последующих исследователей и в Пушкинской литературе повторен лишь Булашевым, приводит нас к заключению, что сообщение Федорова является вымыслом.

² Муравьев-Апостол.— Путешествие по Тавриде, стр. 118—119.

³ Мурзакевич.— Поездка в Крым в 1836 году. „Журн. мин. нар. просв.“, 1837 г. № 3, стр. 631.

в „Современнике“ за 1849 год (т. XV), мы находим указание, что доска с надписью на фонтан „Сельсебийль“ перенесена была с другого великолепного фонтана, в который была проведена вода нескольких горных ключей, сооруженного Крым-Гиреем возле мавзолея Дилары. Эта надпись кончается так: „Кто будет утолять жажду, тому кран языком своим скажет хронограмму: приди, пей воду чистую, она приносит исцеление“. Из хронограммы видно, что сооружение фонтана, который первоначально украшала надпись, относится к 1176 геджры, т. е. к 1762 году, мавзолей же был построен позже—в 1764 году. Несмотря на эту фактическую неточность, указание Мурзакевича и Домбровского дает нам возможность объяснить дальнейшее развитие легенды: уже к началу 80-х годов в ней имя Дилары, по неизвестным нам причинам, заменяется другим именем—Потоцкой,¹ при этом оно связывается не только с мавзолеем, но и с находившимся поблизости фонтаном; когда же с этого фонтана доска с надписью была перенесена на фонтан во дворце, то тем самым приурочили к нему и легенду о Потоцкой. Дальнейшее развитие предание получает уже в связи с новым фонтаном: вода, падающая по каплям, дает повод говорить о слезах невольницы, а политический символ на фонтане, осененная крестом магометанская луна, получает новое истолкование, согласное с легендой. На то, что легенда о Бахчисарайском фонтане является лишь дальнейшим развитием предания о Диларе-Бикеч, существует указание и в поэме Пушкина, в которой одно из главных действующих лиц, Зарема, является по происхождению, как и Дилара, грузинкой.

В своем письме Пушкин отметил, что легенда была рассказана ему прежде, чем он попал в Бахчисарай. К тому же выводу приводит нас и ряд соображений. Если бы поэт узнал легенду на месте, в Бахчисарае, то естественно предположить, что он заинтересовался бы

¹ Есть основания предполагать, что имя Потоцкой перенесено из другой легенды: о возникновении побочной линии Чабан-Гиреев (Смирнов, В. Д.— Крымское ханство под верховенством Османской Порты до начала XVIII века, СПб. 1887, стр. 498—509).

не только фонтаном, но и мавзолеем, а этого не было: NN „почти насильно“ повел его в развалины гарема и на ханское кладбище. Однако равнодушие поэта не распространялось на фонтан. При осмотре его Пушкин заметил даже такую мелкую деталь, как осененную крестом луну, украшающую сверху фасад фонтана. Это можно объяснить лишь тем, что легенда со всеми ее подробностями была известна Пушкину еще до посещения им дворца. Наконец, об этом свидетельствует и отрывок из черновой рукописи Пушкина:

„Исполню я твое желанье,
Начну обещанный рассказ.
Давно, когда мне в первый раз
Поведали сие преданье,
Тогда я грустью омрачился,
Но ненадолго юный ум,
Забыв веселых оргий шум,
В унынье, в думу углубился.
Какою быстрой чередой
Тогда сменялись впечатленья,
Восторги — тихою тоской,
Печаль — порывом упоенья“.¹

„Здесь так ясно обрисована петербургская жизнь Пушкина,— замечает Гершензон,— что сомнений быть не может“.²

Некоторые заключения о пребывании Пушкина в Бахчисарае можно сделать и на основании поэтических высказываний, но при этом не следует забывать, что такие заключения, при отсутствии фактических данных, не будут вполне достоверны, а лишь в большей или меньшей степени вероятны. В поэме „Кавказский пленник“ Пушкин, изображая быт горцев, описал и игры их в „светлый Байран“. Мусульманский праздник Байрам в 1820 году начался 6 сентября, и наши путешественники могли наблюдать его как в татарских деревушках, через которые проезжали, так и в Бахчисарае, где до настоящего вре-

¹ Текст отрывка нами дан в чтении Якушкина („Русская стар.“ 1884, № 6, стр. 551) и отличается от текста, напечатанного Анненковым в „Материалах для биографии Пушкина“ (стр. 99).

² Гершензон.—Образы прошлого, стр. 15.

мени в дни этого праздника устраиваются народные игры и состязания, которые во времена Пушкина были, конечно, значительно живее и интереснее. Описывая в „Кавказском пленнике“ празднование Байрама, Пушкин, вероятно, и воспользовался некоторыми своими впечатлениями от бахчисарайских народных состязаний. В другой поэме, „Бахчисарайский фонтан“, есть несколько строк, рисующих город ночью. Это дает возможность предполагать, что Пушкин и Раевские в Бахчисарае провели ночь, и тогда, конечно, останавливались во дворце, где в те времена для „знатных особ“ отводились для остановки и ночлега комнаты. По всей вероятности, путешественники двинулись в дальнейший путь рано утром, так как Гераков отмечает, что 8 сентября в Симферополе до обеда „был у приезжих генералов Н. Н. Раевского и гр. Ланжерона“, и что в тот же день после обеда он пошел к химику Дессеру, „где Н. Н. Раевский, представши в сем доме, своим умным разговором“ рассеял его мрачные мысли. Следовательно, первый раз Гераков виделся с Раевским не у Дессера, т. е. тотчас же после приезда генерала, когда последний не имел еще постоянного пристанища.

3

Симферополь в 20-х гг. прошлого века и отсутствие упоминаний о нем у поэта.— Вопрос о Салгире в поэзии Пушкина.— Дата отъезда Пушкина из Симферополя.— Встреча поэта с А. Н. Барановым.— Рассказ доктора Ланга.

Симферополь, хотя и являлся уже с 1802 года административным центром Тавриды, еще в 20-х гг. представлял собою маленький и неблагоустроенный азиатский городок: низкие, покрытые черепицей каменные строения, обращенные окнами во двор, длинные, перепачканные грязью каменные стены вдоль кривых немощеных улиц, которые так узки, что две телеги не могут разъехаться, много мечетей,— все это придавало городу своеобразный вид, но едва ли могло после всего виденного во время путешествия привлечь внимание Пушкина. Ни в письмах,

ни в творчестве—нигде поэт не вспомнил о Симферополе. Последнее утверждение, казалось бы, противоречит упоминаниям Пушкина о Салгире, реке, протекающей в этом городе. Уже Гераков, говоря, что река Салгир, „прославленная плаксивыми путешественниками, романтическими писателями“, на самом деле „менее ручья, ибо и утки ходят поперек оногo“,¹ вероятно имел в виду Пушкина. Только в 1900 году В. П. Ласковский отыскал на старых картах Крыма с таким же наименованием другую речку, протекающую между Суук-Су и Аю-Дагом, и возбудил в Тавр. уч. арх. комиссии вопрос о том, какой же Салгир воспет Пушкиным.² Ар. Ив. Маркевич в своем сообщении, сделанном по этому поводу, указал, что в строках

„Приду ли вновь
.
На берегах веселого Салгира
Воспоминать души моей мечты?“

слово „воспоминать“ ясно указывает на многократность действия, и что „стихи, поставленные сейчас же за упоминанием р. Салгира рисуют такую картину, которая не имеет никакого отношения к степному Салгиру и, напротив, тесно связана с рекою Салгиром у Аю-Дага“³. Новое решение этого вопроса дал Бертье-Делагард⁴. Указав, что у крымских татар слово „салгир“ имеет значение не собственного имени, а нарицательного, в смысле вообще речки и даже сухоречья, он считал, что Салгир, воспетый Пушкиным,—не что иное, как горный поток Аунда, протекающий через Гурзуф, так как и в стихотворении „Желание“ и в конце „Бахчисарайского фонтана“, где встречаются упоминания о Салгире, рисуется картина Южного берега или даже окрестностей Гурзуфа. Салгир же, указанный Ласковским, находится в одном из пустынных и безводных сухоречий, где любоваться нечем.

Мы согласны с Бертье-Делагардом, что среди русского населения в Крыму в настоящее время этим именем

¹ Гераков.—Путевые записки, стр. 131.

² „Изв. Тавр. уч. арх. ком.“, № 31, Симф., 1901, стр. 90.

³ Ив., стр. 95—97.

⁴ Бертье-Делагард.—Op. cit., стр. 114—118.

называется не только река, протекающая через Симферополь, но и вообще крымские реки и сухоречья. Однако является вопрос: имело ли слово „салгир“ значение нарицательного имени во времена Пушкина? Просмотрев целый ряд описаний путешествий по Крыму первой четверти 19-го века, мы нигде не встретили слова „салгир“ в таком значении, и тем не менее мы склонны усматривать в Салгире Пушкина не симферопольский Салгир, а вообще крымскую речку, но уже на другом основании. Упоминание о Салгире у Пушкина встречается еще в первой главе „Евгения Онегина“ (строфа LVII):

„Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира“.

В этих строках Пушкин говорит о своих поэмах „Кавказский пленник“ и „Бахчисарайский фонтан“, подразумевая под „девою гор“ черкешенку, а под „пленницами берегов Салгира“—Марию и Зарему; однако последних Пушкин мог назвать так лишь в том случае, если Салгир в его словаре означал крымскую речку вообще.

Сколько времени пробыл Пушкин в Симферополе и когда он выехал в Кишинев, до сих пор точно установить не удалось. Бартенев указывает, что после отъезда Раевского-старшего с сыном и Пушкиным из Гурзуфа семейство его некоторое время еще оставалось на Южном берегу и соединилось с ним, кажется, в Бахчисарае.¹ Затем, по воспоминаниям М. Н. Волконской, поэт проводил Раевских до Каменки (Киевской губ., Чигиринского уезда), где жила мать генерала Раевского, во втором браке Давыдова.² По словам же Ек. Ник. Орловой, Пушкин после посещения Бахчисарая доехал с ними до Сим-

¹ Бартенев.—Ор. cit., стр. 1120.

² Ib., стр. 1121.

ферополя или, может быть, до Перекопа.¹ Совершенно невозможно предполагать по времени, что женская половина семьи Раевского, пробыв в Гурзуфе еще несколько дней после отъезда генерала, успела проехать через Симферополь в Бахчисарай навстречу ему. На основании свидетельств Муравьева-Апостола и Геракова, которые встречались с семейством Раевских в Саблах и Бахчисарае уже во второй половине сентября, а также на основании документов, разысканных А. И. Маркевичем в архиве канцелярии Таврического губернатора,² Бертье-Делагард установил, что семья Раевского, вероятно, проехала около половины сентября из Гурзуфа прямо в Саблы и оттуда уже, после отъезда из Крыма Раевского-старшего, занялась посещением Бахчисарая (19 и 20 сентября) и Севастополя (2 октября). Симферополь же эта семья покинула не раньше 5 октября;³ Пушкин же уже 20—21 сентября был в Кишиневе,⁴ а следовательно ни до Каменки, ни даже до Перекопа Раевских провожать не мог. Остается предполагать, что расстался он с женской половиной семьи Раевского еще в Гурзуфе или в крайнем случае в Симферополе. От Симферополя до Кишинева по почтовому тракту тогда исчислялось 617 верст, и сделать этот переезд, не спеша в дороге, Пушкин мог дней в 5—6. Следовательно, надо предполагать, что Симферополь поэт покинул не позже 14—15 сентября. Бертье-Делагард, указывая на отсутствие упоминаний у Пушкина об этом городе, замечает: „всего вероятнее думать, что Пушкин уехал из Симферополя немедленно по приезде туда с Южного берега, т. е. 8—9 сентября... Будучи больным, он не-

¹ Грот, Я.— Пушкин, его лицейские товарищи и наставники; 2-ое изд. 1899, стр. 53.

² Муравьев-Апостол.— Путешествие по Тавриде, стр. 47—48, и Гераков.— Продолжение путевых записок, стр. 21, 24. „Изв. Тавр. уч. арх. ком.“ № 47. Отчет о деятельности Тавр. уч. арх. ком. за 1910 г., стр. 25—26.

³ Бертье-Делагард—Op. cit., стр. 110—114.

⁴ Липранди указывает, что Пушкин приехал в Кишинев 21 сентября („Рус. арх.“ 1866. №№ 8—9, стр. 1263). А. Яцимирский считает днем приезда 20 сентября (Пушкин в Бессарабии. Пушкин, ред. Венгерова, т. II, стр. 162).

спешил в дороге, везде отдыхая, особенно в Одессе, где его, конечно, захватила жизнь большого, веселого города". Мы же считаем более вероятным другое предположение: Пушкин прожил в Симферополе несколько дней. Уже в Бахчисарай поэт приехал больным. Из письма А. И. Тургенева к Вяземскому от 3 ноября 1820 года мы узнаем, что губернатор Баранов уведомил братьев Тургеневых о том, „что Пушкин-поэт был у него с Раевским, и что он отправил его в лихорадке в Бессарабию“.¹ Едва ли возможно предполагать, что больной Пушкин, совершив длительное и утомительное путешествие верхом по Крыму, без отдыха немедленно отправился в Кишинев, или что его, больного, захватила веселая жизнь Одессы, где он и задержался. Отсутствие же упоминаний о Симферополе можно объяснить как болезнью Пушкина, так и тем, что и помянуть-то город, может быть, было нечем. Ведь пять лет спустя, Грибоедов, покинув Симферополь, писал своему другу С. Н. Бегичеву: „Третьего дня я вырвался наконец из дрянного городишка“.

Говоря о пребывании Пушкина в Симферополе, надо отметить встречу поэта с губернатором Барановым. Алек. Ник. Баранов, несмотря на важный, занимаемый им пост, был всего лишь на шесть лет старше Пушкина² и принадлежал к той группе либерально-настроенной дворянской молодежи, среди которой вращался поэт в Петербурге. В дневниках и письмах Н. И. Тургенева³ есть указания, что Баранов в 1815 году служил, как и Н. И. Тургенев, в Нанси, в канцелярии военного губернатора Лотарингии, и что на следующий год они даже вместе возвращались в Россию. Возвратившись в Россию, Баранов проживал в Петербурге, занимая должность начальника отделения

¹ „Остаф. арх.“, т. II, стр. 99.

² Родился 23-го апреля 1793 г. Умер 25 апреля 1821 г. Даты рождения и смерти Баранова отмечены в надгробной надписи в Старо-кладбищенской церкви г. Симферополя.

³ Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811—1816 гг. под редакцией Е. И. Тарасова. Изд. Отд. рус. яз. и слов. Ак. Наук, СПб. 1913 г., стр. 301, 338, 464, 468, 469.— Дневники и письма Ник. Ив. Тургенева за 1816—1824 гг. То же издание. Пгр. 1921 г., стр. 98, 106, 108, 165, 193, 208, 266, 463.

по медицинскому департаменту. В 1819 г. Баранов был назначен Таврическим губернатором. Скончался Баранов 25 апреля 1821 года от солнечного удара, который случился с ним во время объезда губернии. С течением времени уже в Петербурге Н. И. Тургенев и Баранов сделались приятелями. „Признаюсь, что скучно“, — записано в дневнике Тургенева 10 окт. 1817 г.:— „Все эти вечера я проводил в театре, или у Баранова. Теперь дома, и скука заметна“. Навещал до своего отъезда из Петербурга и Баранов Тургенева. Узнав о смерти Баранова, Н. И. Тургенев 15 мая 1821 года отметил в своем дневнике: „Сегодня услышал, что Баранов умер. Какая неожиданная весть! Он был одним из самых коротких моих приятелей. Я замечал, что он хорошо был ко мне расположен. Потерять приятеля—со мною это, кажется, еще в первый раз встречается. Я терял приятелей, может быть друзей; они остались живы. Этого смерть отняла у меня! Непонятное, но сильное чувство: сожаление. Я чувствую, что мне чего-то недостает. В мире стало меньше человеком, для меня любезным. Любя массы людей, еще более желаешь любить людей в отдельности, дабы по части воображать целое. Любить людей в отдельности так трудно! Так редко встречаются такие, которых качества едва спасают от презрения. Зачем же лишаться тех, которых уже любишь? Не он сам лишил меня себя: смерть отняла его. И память его будет для меня тем драгоценнее!“ На близкое знакомство Баранова с братьями Тургеневыми указывает и упомянутое выше несохранившееся письмо, в котором он извещает друзей Пушкина об отъезде поэта в Бессарабию. Гераков в „Записках“ также упоминает, что был коротко знаком с Барановым по Петербургу.

Естественно предположить, что и Пушкин познакомился с Барановым еще в столице, может быть, у Тургеневых, где поэт временами бывал ежедневно. Наше предположение подтверждается записью в дневнике Тургенева от 21 ноября 1817 года: „Сегодня по вечеру был у меня Баранов и Пушкин“. Поэтому выражение в письме А. И. Тургенева „Пушкин-поэт был у него (Баранова)

с Раевским“ мы склонны толковать не в том смысле, как это делает Бертье-Делагард, что Пушкин с Раевским-старшим только посетил Баранова для получения подорожной и указаний о дальнейшем следовании, но что поэт и Раевский-младший останавливались в доме губернатора;¹ генерал же Раевский, как видно из слов Геракова, поместился у Дессера. Об отношении Пушкина к Баранову нам ничего неизвестно, однако интересно отметить, что в мае 1821 года поэт, узнав о смерти Баранова, записал в своем дневнике: „Баранов умер, жаль честного гражданина, умного человека“. ² Где находился тот дом, в котором проживал Баранов и останавливался Пушкин, за отсутствием точных указаний, выяснить невозможно; губернаторский же дом, сохранившийся до настоящего времени и находящийся по улице Ленина (быв. Лазаревской) против городского сада, был выстроен лишь в 30-х годах. ³

Наконец, о пребывании Пушкина в Симферополе сохранился рассказ старожилы этого города—доктора Ланга, который в 40-ых годах сообщил Ю. Н. Бартеневу, что Пушкин долго жил в Симферополе, узнал от рассказчика легенду о Бахчисарайском фонтане, ездил уже из Симферополя для обзора местности в Бахчисарай и тут же, в Симферополе, писал свою поэму. ⁴ Оставляем этот рассказ, как заведомо ложный, без рассмотрения.

¹ О том, что Пушкин останавливался у Баранова, передает со слов старожил и Карский (Пушкин в Тавриде, стр. 42). Следует однако заметить, что дальнейшие свидетельства Карского о пребывании Пушкина в Симферополе являются простым переложением рассказа Вигеля о посещении им этого же города в 1826 г., заключают в себе ряд фактических неточностей и никакого отношения к Пушкину не имеют.

² Незданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина. Госиздат. М.—П. 1923, стр. 225.

³ Тимашевский Г. И. — Краткий очерк истории Симферополя. Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии“. Симферополь. 1890, стр. 51.

⁴ Бартенев, Ю. Н. — Жизнь в Крыму. „Рус. арх.“ 1899, № 8, стр. 576.

Желание Пушкина вторично посетить Крым. — Несостоявшиеся поездки 1824 года.—Воспоминания о Крыме в с. Михайловском.

Пушкин покинул Крым, но уже через несколько дней по приезде в Кишинев писал брату, что его „любимая надежда“—„опять увидеть полуденный берег и семейство Раевского“. С Раевскими поэт встретился снова в ноябре того же года в Каменке, где гостил несколько месяцев; не прерывалась у Пушкина связь с этой семьей и позже. Мечта же поэта вторично посетить Крым, хотя и занимала несколько лет воображение Пушкина, не сбылась.

В стихотворении 1821 года „Желание“ поэт пишет:

„Приду ли вновь, поклонник Муз и мира,
Забыв молву и света суеты,
На берегах веселого Салгира
Воспоминать души моей мечты?“

В необработанном стихотворении 1822 года „Таврида“ Пушкин воображает себя в крымской обстановке. Но еще более ясное поэтическое свидетельство о желании поэта вторично посетить Крым находится в заключительных стихах „Бахчисарайского фонтана“:

561. „О скоро ль вас увижу вновь,
562. Брега веселые Салгира?“

Стихи 549—558 этой поэмы были выпущены самим Пушкиным, и на пропуск в изданиях, вышедших при жизни поэта, указывали лишь внешние знаки: точки или даже только пробел. Впервые пропущенный отрывок был восстановлен по неизвестной уже нам рукописи Анненковым, но он же имеется и в тетради № 2369 Моск. музея (л. 3 об.), где находится интересный вариант стиха 561:

„(О) Я скоро (ль) вас увижу вновь“.¹

Этот тетрадь Пушкин пользовался в 1822—24 годах, а поэтому Щеголев относит указанный отрывок к 1823 г.²

¹ Щеголев, П. Е.—Пушкин, стр. 138, прим. 2.

² Ив., стр. 89, прим. I.

Интересно отметить, что в этом стихе говорится уже не только о желании поэта вторично посетить Крым, но и о каких-то, для нас неизвестных, предположениях поэта еще в начале 1823 года, направленных к осуществлению его.

Летом того же года Пушкин из Кишинева переезжает в Одессу, и у него появляются новые планы относительно поездки в Крым. 20 декабря 1823 года Пушкин пишет Вяземскому: „Что если бы ты заехал к нам на юг нынче весной? Мы бы провели лето в Крыму, куда собирается пропасть дельного народа, женщин и мужчин“.¹ Поездка, о которой говорит поэт, предполагалась по следующему поводу. В конце 1822 года новый начальник Пушкина, гр. Воронцов, купил у Ришелье имение в Гурзуфе и предполагал отпраздновать там новоселье. Пушкин, как постоянный посетитель дома Воронцовых, конечно, надеялся быть в числе приглашенных. Но надежды поэта не сбылись: уже весной 1824 года, по недостаточно еще выясненным причинам, между Воронцовым и Пушкиным возникли нелады, и последний не был приглашен участвовать в увеселительной поездке на Южный берег. Во второй половине июня многочисленное светское общество отправилось на яхте „Утеха“ в Гурзуф, а недели через две (8-го июля) в Петербурге, вследствие ходатайства Воронцова, было решено выслать Пушкина из Одессы в село Михайловское.

В том же году Пушкин получил приглашение плыть на Южный берег Крыма от одного из хозяев Каменки— Ал. Л. Давыдова, но, по всей вероятности, оно пришло уже тогда, когда отношения у поэта с Воронцовым обострились, и Пушкин принужден был отказаться.²

Осенью 1824 года уже в с. Михайловском на Пушкина с особой силой нахлынули воспоминания о Крыме, где, следует заметить, в это время находились некоторые из членов семьи Раевских. Можно предполагать, что именно этой осенью поэтом были написаны стихотворения „К Чаадаеву“, „Виноград“, „Фонтану Бахчисарайского дворца“

¹ Пушкин. — Письма, т. I, стр. 66.

² См. стихотв. Пушкина „Нельзя, мой толстый Аристип“.

и „Подражание турецкой песне“. В ноябре Пушкин просил брата прислать ему из Петербурга „Путешествие“ Муравьева-Апостола, а в декабре, прочитав эту книгу, он еще раз передал свои крымские впечатления в письме к Дельвигу и еще раз признался в своем желании посетить этот край: „Растолкуй мне теперь: почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием?“

IV. КРЫМСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА

Понятие „крымские стихотворения“. — Объем творчества Пушкина в Крыму.—Стихотворения, навеянные воспоминаниями о Крыме.—Отсутствие в них социальных мотивов.—Вопрос об „утаенной“ любви Пушкина.

Пушкину не удалось вторично посетить Крым, но даже кратковременное пребывание поэта там в 1820 году не прошло бесследно для русской поэзии. Начиная с 20-х гг., в течение двух десятилетий, кроме Пушкина, в Крыму побывали по разным поводам почти все знаменитые писатели того времени: Батюшков, Грибоедов, Гоголь, Жуковский, Лермонтов; однако соприкосновение последних с Крымом оставило мало следов на их творчестве. Крым вошел в русскую литературу, сделался „священным краем“ для поэтического воображения главным образом благодаря Пушкину. Целый ряд стихотворений Пушкина связан с этим краем. Связь эта различна. Во-первых, к крымским произведениям Пушкина надо отнести стихотворения, созданные на месте, под крымским небом, но иногда отражающие предшествующие переживания и впечатления поэта, может быть, на „полуденном берегу“ лишь осознанные по-новому; во-вторых,—те произведения, которые хотя и были написаны позже, тем не менее связаны с крымскими впечатлениями и переживаниями поэта. Не следует думать, что эти ощущения являлись чем-то постоянным в психике Пушкина, так как в различные периоды жизни поэта они приобретали в сознании его различную значимость. Изменялась в сознании даже фактическая сторона их: например, „испорченный“ Бахчисарайский фонтан, „из заржавой трубки которого по каплям падала вода“, с течением времени в сознании поэта пре-

.....

вращается в „фонтан любви, фонтан живой“, в немолчный, журчащий ключ. Пушкин сам заметил несоответствие между крымскими ощущениями и воспоминаниями и объяснял его тем, что, может быть, „воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему“. Вот почему стихотворения, навеянные воспоминаниями о Крыме, но написанные уже позже, не могут быть поэтическими документами, выявляющими в полной мере и точно крымские ощущения поэта.

Решение вопроса об объеме творчества Пушкина в Крыму затрудняется тем обстоятельством, что часто мы не располагаем необходимыми данными, чтобы с безупречной точностью отнести написание того или иного стихотворения к крымскому периоду жизни поэта. Но еще значительно труднее бывает выделить у Пушкина стихотворения и отрывки, навеянные воспоминаниями о Крыме, т. к. о крымских впечатлениях и переживаниях поэта мы часто можем лишь предполагать, а Пушкинский пейзаж всегда в большей или меньшей мере стилизован и обезличен.

Пребывание Пушкина в Крыму нельзя отнести к периодам не только напряженной, но даже и повышенной творческой деятельности поэта. Во время переезда из Феодосии в Гурзуф Пушкин набросал элегию „Погасло дневное светило“, однако, отсылая ее брату, он сделал под ней пометку: „Черное море. 1820. Сентябрь“, и это заставляет предполагать, что стихотворение было отделано лишь в сентябре, может быть, уже в Кишиневе. В Гурзуфе Пушкин приступил к поэме „Кавказский пленник“, но насколько плодотворна была работа над поэмой именно в Крыму, сказать невозможно. Кроме того, ко времени пребывания Пушкина в Крыму можно приурочить предположительно написание следующих стихотворений: „Элегия“ („Увы, зачем она блистает“), „Мне вас не жаль, года весны моей“, „Чаадаеву. С морского берега Тавриды“, „Подражание турецкой песне“, „Виноград“, „Фонтану Бахчисарайского дворца“, и нескольких мелких отрывков. Черновые автографы первых двух стихотворений находятся в записной книжке Пушкина 1820—21 гг., хранящейся в Гос. Публ. б-ке в Ленинграде, и имеют пометы

„1820. Юрзуфъ. 20 Сентября“. Поэтому при датировке этих стихотворений можно или усматривать дважды повторенную опisku Пушкина, что мало вероятно, или помету объяснять так: стихотворения были набросаны Пушкиным 20 сентября, тотчас же по приезде в Кишинев, когда поэт находился еще под влиянием гурзуфских впечатлений и настроений, на что и указывает начало пометы: „1820. Юрзуфъ“.

„Подражание турецкой песне“, „Виноград“, „Фонтану Бахчисарайского дворца“, а также послание к Чаадаеву, которое Пушкин включил в письмо к Дельвигу, были датированы самим поэтом в изданиях 26 и 29 гг.—1820 годом. Однако все эти стихотворения в первоначальной черновой редакции находятся в тетрадях Моск. музея за №№ 2369 и 2370, т. е. среди записей 1824—25 гг., что и дает основание Л. Майкову и П. Морозову относить эти стихотворения, вопреки указаниям самого поэта, к 1824 г. Интересно отметить, что послание „К чему холодные сомненья“ находится в тесной связи с настроениями Пушкина именно конца 1824 года, когда было написано и письмо к Дельвигу. В это время поэт, вероятно, в связи с предполагавшимся побегом за границу,¹ часто думал о Чаадаеве: в ноябре 1824 г. Пушкин просил брата прислать ему из Петербурга портрет Чаадаева, а во второй половине декабря снова упомянул в письме к нему же имя своего друга: „Когда будешь у меня, то станем трактовать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева. Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться“. В письме к Дельвигу Пушкин, описывая посещение развалин храма Дианы, лишь говорит: „я думал стихами“, но вовсе не указывает, что эти стихи были тогда же записаны. Следовательно, можно допустить в 1824 году не окончательную обработку послания, как это делает Якушкин, а восстановление его поэтом по памяти, тем более, что для этого имелись и психологические основания.

Наконец, Пушкин писал брату: „Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на Черноморских и Донских казаков—

¹ Цявловский, М. — Тоска по чужбине у Пушкина. „Голос минувшего“. 1916, № 1, стр. 40—41.

теперь не скажу об них ни слова". Никаких записок до настоящего времени не найдено, и можно лишь предполагать, что если литературный проект был вообще осуществлен, то поэт мог работать над ним и в Крыму.

Итак, говорить о повышенной творческой деятельности Пушкина в Крыму нет никаких оснований, да и сам поэт отмечает временную утрату вдохновения:

„Но где же вы, минуты умиления,
Младых надежд, сердечной тишины,
Где прежний жар и нега вдохновенья?
Придите вновь, года моей весны!“

(„Мне вас не жаль, года весны моей“)

Последующие крымские стихотворения были написаны уже в Каменке и в Кишиневе, „когда крымские впечатления улеглись в определенные формы, поэтически созрели и нашли себе удовлетворяющее поэта выражение“. ¹ К ним надо прежде всего отнести „Нереиду“ и элегию „Редает облаков летучая гряда“, написанные, как видно из пометы в рукописи Моск. музея, в Каменке, а следовательно, — в конце 1820 или в самом начале следующего года. Оба стихотворения впервые были напечатаны в „Полярной звезде“ за 1824 год и доставили поэту не мало огорчений: первое было помещено с опечаткой, а во втором стихотворении Бестужев, не считаясь с желанием автора, напечатал полностью три последних стиха:

„Когда на хижины сходила ночи тень
И дева юная во мгле тебя (звезду) искала —
И именем своим — подругам называла“.

„Конечно, я на тебя сердит, — писал поэт 12 января 1824 года Бестужеву, — и готов с твоего позволения браниться хоть до завтра. Ты напечатал именно те стихи, об которых именно я просил тебя: ты не знаешь, до какой степени это мне досадно“. ² Месяц спустя, Пушкин заметил в другом письме к Бестужеву, что в поэме „Бахчисарайский фонтан“ он лишь „суеверно перекладывал

¹ Петухов, Е. В.—Крым и русская литература. Симф. 1927, стр. 9.

² Пушкин.—Письма, т. I, стр. 69.

в стихи рассказ молодой женщины".¹ Это письмо попало каким-то образом в руки Булгарина, который напечатал признание поэта в „Литературных листках“, предпослав ему фразу: „Автор сей поэмы писал к одному из своих приятелей в Петербурге“. Такое бесцеремонное обращение с частным письмом еще более раздосадовало и огорчило Пушкика, и только 29 июня, когда раздражение поэта уже улеглось, он снова написал Бестужеву: „Милый Бестужев, ты ошибся, думая, что я сердит на тебя—лень одна мне помешала отвечать на последнее твое письмо (другого я не получал). Булгарин другое дело... Посуди сам: мне случилось когда-то быть влюблену без памяти. Я обыкновенно в (это время) таком случае пишу элегии, как другой. Но приятельское ли дело вывешивать на показ мои мокрые простыни? Бог тебя простит! но ты осрамил меня в нынешней Звезде—напечатав три последние стиха моей элегии; чорт дернул меня написать еще к стати о Бахч. фонт. какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. — Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными.—Журнал может попасть в ее руки. — Что же она подумает, видя с какой охотой беседую об ней с одним из П. Б. моих приятелей. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгаринным — что проклятая элегия доставлена тебе чорт знает кем — и что никто не виноват. Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики“.²

На основании этого письма можно сделать вывод, что „дева юная“, „элегическая красавица“ (т. е. воспетая Пушкиным в элегии) была та самая женщина, в которую поэт был влюблен без памяти и которая сообщила ему легенду о Бахчисарайском фонтане, и что в трех последних строках элегии имеется намек на какую-то интимную подробность, по которой можно было опознать вдохновительницу элегии. Не заключается ли в них намек на имя этой женщины? Вячеслав Иванов указал, что в ка-

¹ Пушкин.—Письма, т. I, стр. 71.

² *Иб.*, стр. 86.

толическом мире Венера именуется „Звездой Марии“. ¹ П. Губер толкует это место, исходя из предположения, что Пушкину хотя бы по строке из Горация: „fratres Heneпае, lumina sidera“, был известен миф о превращении в эту звезду Елены Спартанской. ² Однако в августе—сентябре 1820 года Венера была утреннею звездой (об этом знал и Пушкин, т. к. в XIV строфе „Странствий Онегина“ он говорит об „утренней Киприде“), и наблюдать ее восход, „когда на хижины сходила ночи тень“, поэт не мог. Поэтому, основываясь на астрономических вычислениях Н. Н. Кузнецова, ³ Вересаев полагает, что упомянутое в элегии „знакомое светило“ — не Венера, а Юпитер, и что среди названий последнего и нужно искать разгадку. ⁴

В беловом автографе „Нереида“ и элегия объединены общим заглавием: „Эпиграммы во вкусе древних“. Повод озаглавить так эти пьесы дали не только пластические образы в них. Д. Соколов уже указал на некоторую зависимость образов в стих. „Нереида“ от стихотворения XIV Катутла, а П. Морозов на сходство этой же пьесы с началом картины XIII из „Переодеваний Венеры“ Парни. ⁵ Поэтому и в элегии можно скорее предполагать зависимость образов от античной мифологии, чем от католической символики. „Нереидой“ открывается цикл антологических стихотворений Пушкина 1821 г. („Дева“, „Красавица перед зеркалом“, „Дионея“ и др.), который явился, можно предполагать, результатом как литературного влияния Шенье, сборник стихотворений которого

¹ Соколов, Б. М.—М. Н. Раевская—кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М. 1922, стр. 24. Вересаев, В.—Таврическая Звезда. „Пушкин и его совр.“, л. 1928, вып. XXXVII, стр. 124. Губер, П.—Дон-Жуанский список А. С. Пушкина. Пгр. 1923, стр. 77—78, прим.

² Губер, П.—Op. cit, стр. 77.

³ Кузнецов, Н. Н.—Вечерняя звезда в одном стихотворении Пушкина. „Мироведение“, Изв. Русск. общ. любителей мироведения, т. XII, № 1 (44), апр. 1923 г., стр. 87—90.

⁴ Вересаев, В.—Таврическая Звезда. „Пушкин и его совр.“, вып. XXXVII, стр. 126.

⁵ Соколов, Д.—К вопросу о Пушкинских местах в Гурзуфе. „Пушкин и его совр.“, вып. XXIII—XXIV, стр. 197—198. Морозов, П.—Пушкин и Парни. Пушкин, ред. Венгерова, т. I, стр. 391.

вышел во Франции в 1819 году, так и крымских впечатлений поэта. „Мы имеем полное право сказать, — пишет Анненков, — что красота формы; гармония внешних линий были первым навеянием классической Тавриды, первым ее подарком поэту-странствователю“.¹

К крымским стихотворениям 1821 года надо отнести также незаконченную переделку Пушкиным сказочки французского поэта Antoine Bouderon de Sénécé „Le Kaïmak, ou la Confiance perdue“, действие которой поэт переносит в Крым („В Юрзуфе бедный мусульман“),² и проникнутое глубоким чувством восторга стихотворение „Желание“.

По всей вероятности и поэма „Бахчисарайский фонтан“ была задумана Пушкиным еще в начале 1821 года. 23 марта Пушкин о ней намекает в письме к Дельвигу: „Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы — но что теперь ничего не пишу — я перевариваю воспоминания“, а в письме к Гнедичу, написанном на следующий день, „молит Феба и Казанскую Богоматерь“, чтобы возвратиться ему в Петербург с „молодостью, воспоминаниями и еще новой поэмой“.³ 27 июня Пушкин просит брата прислать ему поэму Сем. Боброва „Таврида“,⁴ „очевидно, думая найти здесь что-нибудь гармонирующее с собственными поэтическими замыслами“.⁵ По всей вероятности для подготовительных работ понадобилась Пушкину и „Histoire de Crimée“, упоминаемая в записке 1821 года к В. Ф. Раевскому.⁶ Среди набросков этого года в тетради № 2365 Моск. музея (39 об., 48 об., 49 об., 50), а также в записной книжке 1820—21 гг. находятся отрывки, имеющие отношение к поэме.

Л. И. Поливанов склонен видеть „первый замысел“ поэмы в набросках, известных под названием „Таврида“

¹ Анненков. — А. С. Пушкин. Материалы для его биографии, стр. 69.

² Пушкин. — Изд. Ак. Наук, т. III. Примечания, стр. 39.

³ Пушкин. — Письма, т. I, стр. 15—18.

⁴ *Иб.*, стр. 22.

⁵ Петухов, Е. В. — Крым и русская литература, стр. 10.

⁶ Пушкин. — Письма, т. I, стр. 24.

и относящихся уже к 1822 году,¹ но едва ли несколько необработанных отрывков этой пьесы, посвященной крымским впечатлениям, можно связать с легендой о Бахчисарайском фонтане. Кроме того, из критических заметок самого Пушкина, а также из письма А. И. Тургенева к Вяземскому от 30 апреля 1823 года мы узнаем, что поэт хотел сначала назвать свою поэму „Харемом“, а не „Тавридой“.²

Кроме „Тавриды“, к крымским стихотворениям 22 года надо отнести элегию „Люблю ваш сумрак неизвестный“ (в первоначальной редакции „Ты, сердцу непонятный мрак“) и черновые наброски, которыми Пушкин воспользовался для XXXIII строфы 1-ой главы „Евгения Онегина“: „За нею по наклону гор“ и „Ты помнишь море пред грозою“.³ Элегия по настроению автора находится в тесной связи с рядом кишиневских стихотворений 1821 г. („Гроб юноши“, „Умолкну скоро я“, „Война“), в которых Пушкин останавливается на мысли о смерти, и к крымским может быть отнесена лишь потому, что в первоначальной редакции поэт упоминает Гурзуф, как место, „где жизнь была милей“, куда прилетит его дух „от берегов печальной Леты“. В элегии, как и в стихотворениях „Умолкну скоро я“ и „Война“, мысль о смерти связывается Пушкиным с каким-то глубоким любовным переживанием. В следующем 1823 году Пушкиным была закончена поэма „Бахчисарайский фонтан“, первое упоминание о которой находится в письме к брату из Одессы от 25 августа 1823 года: „Здесь Туманский.⁴ Он добрый малый, но иногда врет — напр. он пишет в П. Б. письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и portefeuille, любовь и проч. Фраза

¹ Пушкин, ред. Л. И. Поливанова, т. II, стр. 93.

² Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским. Изд. Отд. рус. яз. и слов. Акад. Наук. СПб. 1921 г., стр. 16.

³ Все указанные стихотворения 1822 года находятся в тетради № 2366 Моск. музея: „Таврида“ — на л. 13 об., л. 16 и л. 16 об.; элегия — л. 14, л. 14 об., л. 15, л. 15 об., л. 16.; „За нею по наклону гор“ — л. 13 об. (дата — 16 авг. 1822 г.); „Ты помнишь море пред грозою“ — л. 17 об.

⁴ Туманский, Вас. Ив. (род. 1800, ум. 1860) — даровитый поэт. С лета 1823 г. он служил в канцелярии гр. Воронцова в Одессе.

достоинная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского Фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал б ■ ее напечатать, потому что многие места относятся ■ дной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру—Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы—помогите!”¹ В приписке к этому же письму Пушкин обещает прислать поэму Вяземскому, „выпустив любовный бред“. Однако едва ли к концу августа поэма была окончательно отделана: только 4 ноября Пушкин отослал ее Вяземскому: „Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма. Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставить перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай“.

К крымским стихотворениям 1823 года можно еще отнести набросок „Венере, Фебу и Фемиде“, находящийся среди отрывков 2-ой главы „Евгения Онегина“, однако ничего общего с ними не имеющий, и предположительно элегию „Ненастный день потух“.

К следующему году, как уже было указано, надо отнести целый ряд стихотворений Пушкина, навеянных воспоминаниями о Крыме: „Фонтану Бахчисарайского дворца“, „Подражание турецкой песне“, „Виноград“ и „Чаадаеву. С морского берега Тавриды“. Кроме них, предположительно к крымским стихотворениям этого же года можно отнести два черновых наброска: „.....у моря, под скалой“ и „Приют любви, он вечно полн“ (тетр. Моск. музея № 2370, л. 3 и л. 6). Обычно эти отрывки относят к пещере, находящейся близ Гурзуфа, в Суук-Су, однако такое приурочивание мало вероятно, т. к. эта пещера „далеко от людных мест, попасть в нее можно в лодке, которую нельзя отпустить, потому что в пещере ни стать ни сесть; это только навес скал над глубокой водой. При таких условиях едва ли возможно назвать ее „приютом любви.“² Трудно однако согласиться со Щеголевым и

¹ Пушкин.—Письма, т. I, стр. 53—54.

² Бертъе-Делагард.—Op. cit, стр. 153

Д. Н. Соколовым, что в этих отрывках, как и в стихотворении „Ненастный день потух“, „под скалами нужно разуместь не скалы гор, а скалы гротов“ в Одессе.¹ И в Одессе и в Гурзуфе находятся на берегу моря уголки, один из которых с некоторой поэтической прикрасой Пушкин мог назвать „дикой пещерой“ и „приютом любви“.

Осенью 1824 года в с. Михайловском был написан и „Разговор книгопродавца с поэтом“, в котором находится признание Пушкина о любовных переживаниях в Крыму:

„Одна была—пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где лист чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгорая жаждою любви“.

П. Е. Щеголев и П. О. Морозов относят эту реплику к Марии Раевской, Д. Н. Соколов—к Воронцовой, а П. К. Губер видит в этих строках отражение еще петербургских переживаний Пушкина, замечая, что „тени и листьев сколько угодно в Павловском и Царскосельском парках, а выражение „вечные струи“ больше подходит к струям дворцовых фонтанов, нежели к волнам Черного моря или даже к Бахчисарайскому фонтану, вода из которого льется не струей, но каплями, похожими на слезы“².

Сопоставляя приведенные стихи с поэтическим признанием Пушкина в XIV строфе „Странствия Онегина“:

„А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснилась пламенная грудь!
Но, Муза! прошлое забудь...“

¹ Соколов, Д. Н.—По поводу стихотворения „Пускай увенчанный любовью красоты“, „Пушк. и его совр.“, вып. XVII—XVIII, стр. 28—29, и Щеголев, П. Е.—Пушкин, стр. 205.

² Щеголев, П. Е.—Пушкин, стр. 146 и Пушкин — Акад. изд., т. III, прим., стр. 409; Соколов, Д. Н.—По поводу стихотвор. „Пускай увенчанный любовью красоты“, „Пушкин и его совр.“ Вып. XVII—XVIII, стр. 30. Губер, П. К.—Дон-Жуанский список Пушкина, стр. 264.

мы полагаем, что именно в Крыму Пушкин переживал глубокое чувство, отличное не только от многочисленных мимолетных увлечений петербургского и кишиневского периодов, но даже и от других более длительных и серьезных. Однако мы полагаем, что вдохновительницей этого чувства не была Мария Раевская, но об этом будет речь ниже.

По положению среди черновиков „Подражаний Корану“ и писем 1824 г. к этому же году надо отнести отрывок „Пока супруг тебя, красавицу младую“ (тетр. № 2370 Моск. муз., л. 38), который, как и сходный с ним по восточной обстановке отрывок 1825 года „Блестит луна, недвижно море спит“,¹ по всей вероятности, навеян воспоминаниями о Крыме, в частности о Бахчисарае с его фонтанами и гаремом. В 1825 году была написана „Буря“. Независимо от того, является ли это стихотворение поэтическим оформлением реальных впечатлений поэта или только мысли, что красота человека выше красоты природы неодоушевленной, оно переносит нас снова в Крым.

Годы пребывания Пушкина в с. Михайловском (1824—1826) являются временем перелома в жизни и творчестве поэта: здесь настал его „полдень“, здесь он „протисился дружно“ „с легкой юностью“ и „высокопарными мечтаниями“. Но и на „новом пути“ он временами обращается к воспоминаниям „счастливейших дней своей жизни“, когда ему

„ казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья“.
(„Странствия Онегина“, строфа XV)

Стихотворение „Талисман“ (1826), черновые наброски 1828—29 гг. („В прохладе сладостных фонтанов“, „К фонтану“²), наконец строфы XIII, XIV, XVII „Странствия Онегина“—все это так или иначе связано с Крымом.

¹ Подлинник находится в Майковской коллекции автографов Пушкина, написан на бумаге с клеймом 1822 г. и носит дату: „22 июля 1825“.
(„Пушк. и его совр.“. Вып. IV, стр. 7).

² Две надписи „К фонтану“ безусловно связаны с аннограммой на фонтане „Сельсебийль“.

Проследив все „крымские“ проявления поэтического вдохновения Пушкина, надо прежде всего отметить длительность памяти поэта о крымских впечатлениях и переживаниях. Прежде чем попасть в Крым, Пушкин прожил два месяца на Кавказе, однако о последнем до вторичной поездки туда, кроме поэмы „Кавказский пленник“, в творчестве поэта встречаются лишь случайные упоминания, в то время как о Крыме Пушкин „воспоминает“ и в гостеприимной Каменке, и в „проклятом Кишиневе“, и в шумной Одессе, и в уединении ссылки в с. Михайловском, и в круговороте столичной жизни. Многие за эти годы переменилось в жизни Пушкина, „и сам, покорный общему закону“, переменился поэт, но воспоминания о Крыме остались ему так же дороги, как и во дни „легкой юности“.

Почти все крымские стихотворения Пушкина — глубоко лиричны и интимны, так как отражают, главным образом, любовные переживания поэта и отчасти впечатления от крымской природы. Как это ни странно, социальный быт татар вовсе не отразился в творчестве вольнолюбивого юноши-поэта. Пушкин не заметил жестокой житейской драмы, которую в те годы в борьбе за свои клочки земли, за свое право на свободный труд переживало бедняцкое татарское население.

Российское правительство после присоединения Крыма рядом манифестов, указов и рескриптов обещало туземному населению охрану личности, имущества и веры, но все эти обещания остались лишь на бумаге. Уже Екатерина II и ее фавориты, Потемкин и Зубов, щедро и беспорядочно наделяли дворянство (в том числе и татарское) крымскими казенными землями, т. е. бывшими ханскими, а также покинутыми эмигрировавшими в Турцию татарами и переселенными правительством в Мариупольский округ греками. Часто при этом правительство не считалось с туземной системой поземельного права, вытекающей из шариата и опирающейся на адет (обычное право), а потому раздавались земли не только пустопорожние, но иногда и принадлежавшие на самом деле татарам или заселенные и „оживленные“ ими. Часто новые помещики-крепостники смотрели на коренных беззащитных жителей,

как на своих крестьян, и, не считаясь с их правами на имущество и свободный труд, требовали от них выполнения различных повинностей („ангарья“ и „толока“), а главное — как бы в виде оброка — десятой части урожая, в случае же уклонения от взноса десятины („оннама“) принуждали „выходить из селений и земель своих, куда похотят, присваивая их земли себе“. Но Пушкин, как отметил уже С. Ф. Платонов, попавши в Крым, вовсе не заметил и не отобразил этого в своем творчестве. Не следует думать, что, говоря о социальном быте татар, мы предъявляем к поэзии Пушкина требования сегодняшнего дня: тяжелое экономическое и правовое положение татар после присоединения Крыма к России отмечалось и современниками Пушкина,¹ а в сознании автора вольнолюбивых стихов вдруг этот суровый быт преломился по-иному и дал лишь образы для идиллической, столь не свойственной Пушкину, как поэту, картинки:

.. красные долины,
 Где бедные простых татар семьи,
 Среди забот и с дружною взаимной,
 Под кровлею живут гостеприимной.

 Повсюду труд веселой и прилежный
 Сады татар и нивы богатит,
 Холмы цветут, и в листьях винограда.
 Висит янтарь, ночных пиров отрада“.
 („Желание“)

От автора „Деревни“ можно было ожидать другого подхода к крымской действительности, но его не было: под видимостью „взаимной дружбы“ и „труда веселого и прилежного“ он не заметил, что и там, в Крыму,

.. . . . барство дикое, без чувства, без закона,
 Присвоило себе насильственной лозой
 И труд, и собственность, и время земледельца“.
 („Деревня“)

Не заметил Пушкин и глубокой национальной вражды между татарами и греками; последние представляли в

¹ См., напр., „Из воспоминаний Михайловского-Данилевского“. „Рус. стар.“ 1897, № 8, стр. 340—343.

Крыму ту военную силу, на которую опиралось русское правительство в нужные минуты в борьбе с туземцами. Восприятие Пушкиным крымской действительности с точки зрения благополучно-чувствительного настроения, мечтательно-идиллическое восхищение поэта простотой жизни „благословенной Аркадии“, где все—„очей отрада“, настоятельно требует объяснения в бытовом и психологическом планах, тем более, что в литературном плане шаблон медитаций и наигранного лиризма, свойственный сентиментальным путешественникам недавнего прошлого, Пушкиным был уже изжит, так что говорить о литературных традициях едва ли возможно. Прежде всего следует заметить, что кратковременность пребывания Пушкина в Крыму, с одной стороны, с другой—невозможность непосредственного общения с татарами, т. к. последние в те времена не владели еще русским языком и разговаривать с ними приходилось через переводчиков, не могли способствовать ознакомлению Пушкина с действительным положением и настроениями коренных жителей. Кроме того, следует обратить внимание и на тот факт, что большую часть времени в Крыму Пушкин провел в Гурзуфе, где земельный вопрос не стоял так остро, как, напр., в Симферопольском уезде, т. к. колонизация и эксплуатация южнобережских земель, в связи с удаленностью их и трудностями сообщения, началась значительно позже. Однако, интересно отметить, что в поэтическом сознании Пушкина татары всегда ассоциируются с одним реальным штрихом—бедностью: „где бедные простых татар семьи“, „в Юрзуфе бедный мусульман“, „а там, меж хижинок тагар“.

Можно было бы идиллическое отношение Пушкина к татарскому быту объяснить и влиянием среды, но, к сожалению, мы не знаем тех лиц, кроме Раевских, Броневского и Баранова, с которыми в то время встречался поэт.

Надо, наконец, отметить, как причину этого, и определенную психическую настроенность Пушкина. Личное глубокое чувство, о котором Пушкин вспоминает в „Разговоре книгопродавца с поэтом“ и в „Странствиях

Онегина", охватило поэта и временно отодвинуло на второй план все остальные запросы и переживания его.

Эта любовь, которую сам поэт в черновиках „Бахчисарайского фонтана“ и посвящения к „Полтаве“ назвал „отверженной и вечной“, „утаенной“, не представляла бы сама по себе для пушкиноведов большого интереса, если бы под ее знаком не развивалась лирическая поэзия Пушкина вплоть до 30-х годов. Целый ряд литературоведческих вопросов, как напр.: история создания поэмы „Бахчисарайский фонтан“, автобиографические элементы и прототипы первых двух южных поэм и т. п., связан, с одной стороны, с вопросом об „утаенной“ любви Пушкина, а с другой—с пребыванием поэта в Крыму. Это и заставляет нас остановить внимание на загадочном моменте в сердечной жизни Пушкина.

Приведенные уже отрывки из писем поэта, а также III строфа IV главы „Евгения Онегина“ говорят о том, что Пушкин тщательно скрывал от окружающих имя вдохновительницы „утаенного“ чувства; в списке женщин, которыми поэт увлекался, набросанном самим Пушкиным зимою 1829—30 года в альбоме одной из своих московских знакомых—Елиз. Ник. Ушаковой, это имя тоже обозначено лишь таинственными буквами N. N; однако большинство биографов Пушкина уже издавна по смутной традиции утверждали, что вдохновительницей была одна из сестер Раевских: Екатерина, Елена или Мария.

Раньше мы уже пришли к выводу, что „мучительным предметом“ таинственной любви Пушкина надо считать „деву юную“, сообщившую поэту Бахчисарайское преданье; в письме же к Дельвигу говорится, что последнее поэт услышал еще до посещения Бахчисарая от К**. Это обстоятельство давало повод букву К** приравнять к Ек. Ник. Раевской (Катерина, Катя, Китти), а затем уже делать и соответствующий вывод об отношениях поэта к последней. Однако еще Бартенев, по неизвестным нам причинам, высказал предположение, что буква К поставлена для прикрытия.¹ Это предположение убедительно

¹ Бартенев.—Ор. cit., стр. 1120, прим. 32.

доказал Щеголев.¹ Когда Пушкин писал Дельвигу о своих крымских впечатлениях, он, конечно, еще живо помнил о породившем в столице неприятные для него толки письмо Туманского и о разглашении Булгариным нескольких строк из письма к Бестужеву, а поэтому взвешивал каждое слово. Самое письмо, отрывок из которого был напечатан Дельвигом в альманахе „Северные цветы на 1826 год“, до нас не дошло, но зато сохранились два черновика, которые позволяют сделать интересные выводы. Черновик второй редакции заканчивается словами: „Пожалуйста не показывай этого письма никому даже и друзьям моим (разъе переписав уже) а начала в самом деле не нужно—“, которые заставляют предполагать, что письмо не было обычным дружеским, а предназначалось самим Пушкиным если не для печати, то во всяком случае для распространения среди друзей: иначе зачем было бы Дельвигу переписывать его. Письмо имело, вероятно, целью устранить неприятные для поэта толки о женщине, сообщившей ему Бахчисарайскую легенду: в первой редакции черновика даже ясно читается: „К** поэтически описала мнѣ его (фонтан)“, а не „описала“. Надо также указать, что черновики начинаются отзывом о книге Муравьева-Апостола, который в печати был опущен; такое сокращение соответствует желанию самого Пушкина: „а начала в самом деле не нужно“, и лишний раз подтверждает выводы Щеголева. Итак, для решения вопроса о том, кто рассказал Пушкину Бахчисарайскую легенду, загадочная буква К** в письме к Дельвигу не может дать никаких указаний.

В подтверждение того, что Пушкин был влюблен в Ек. Ниц., обычно приводится отзыв о ней поэта, как о „женщине необыкновенной“, свидетельство В. П. Горчакова, что Пушкин ее „необыкновенно уважал“², и слова из письма А. И. Тургенева к Вяземскому: „Михайло Орлов женится на дочери Раевского, по которой вздыхал Пушкин“.³ „В качестве поэта,—вспоминает одна из спут-

¹ Щеголев.—Пушкин. Изд. 2-е „Прометей“, стр. 121—122.

² „Рус. арх.“ 1900, кн. 1, стр. 403.

³ „Остаф. арх.“, т. II, стр. 168.

ниц путешествия Пушкина по Крыму,— он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал”.¹ Возможно, что некоторое время поэт был равнодушен и к Ек. Ник., но это чувство вовсе не было длительной, мучительной любовью: в мае 1821 года Ек. Ник. вышла замуж за генерала М. Ф. Орлова и поселилась в Кишиневе; Пушкин находился в дружеских отношениях с ее мужем, часто бывал у них в доме, и ничто не указывает, чтобы в это время поэт продолжал питать к Ек. Ник. какое-либо задушевное чувство или переживал муки ревности. Осенью 1825 года, работая над „Борисом Годуновым”, Пушкин писал Вяземскому: „моя Марина—славная баба, настоящая Катерина Орлова”. Окончив трагедию, поэт снова писал ему же: „на Марину у тебя.....—ибо она полька и собой преизрядна—(в роде Орловой, сказывал это я тебе?).”² Едва ли эти отзывы Пушкина дают возможность отождествлять Ек. Ник. с „элегической красавицей”, поэтически описавшей странный памятник влюбленного хана, и говорить о „вечной” любви поэта.

Почти ничего неизвестно об отношениях Пушкина к болезненной шестнадцатилетней красавице Ел. Ник. Раевской. С большой вероятностью к ней можно отнести лишь элегию „Увы, зачем она блистает”, но последняя не дает еще повода заключать о глубокой и длительной любви Пушкина.

Наконец, в настоящее время, после исследования Щеголева,³ самой распространенной является гипотеза об „утаенной” любви Пушкина к Марии Раевской-Волконской (последняя, следует заметить, во время путешествия Пушкина на Кавказ и в Крым была лишь подростком). Сама по себе красивая гипотеза о любви величайшего поэта к самоотверженной жене декабриста, использован-

¹ Записки кн. М. Н. Волконской. Изд. 2-е. СПб. 1914. стр. 62.

² Пушкин.—Письма, т. I, стр. 163 и 167.

³ Щеголев, П. Е.—„Утаенная любовь” А. С. Пушкина. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина. Пушкин. Изд. 2-е „Прометей”, стр. 35—195. Первоначально работа была напечатана в „Пушк: и его совр.”, вып. XIV.

ная уже в художественной литературе и до работы Щеголева, в настоящее время, по нашему мнению, поскольку она принимается за непреложный реальный факт, является тормозом для дальнейших разысканий в области биографии и творчества Пушкина. Опровержение Щеголевской гипотезы является темой для самостоятельной работы, здесь же мы разберем лишь основные положения ее, тем более, что факты и свидетельства современников, которые привлекаются в ней в качестве аргументов, имеют прямое или косвенное отношение к пребыванию Пушкина в Крыму и к его крымским стихотворениям.

Уже было указано, что Гершензон на основании чернового отрывка из поэмы „Бахчисарайский фонтан“, заключил, что легенду о последнем Пушкин слышал еще в Петербурге. Щеголев, не отрицая этого факта, полагает однако, что это петербургское сообщение, оставленное тогда поэтом без внимания, нельзя отождествлять с рассказом, „который передавали ему милые и наивные уста, который был зачарован звуками милого голоса и коснулся сокровенных глубин творческой организации поэта“. Щеголев указал, что перед отрывком, который должен был служить вступлением к поэме (тетр. № 2369 Моск. муз., л. I об.) и который нами приведен на стр. 51, под густою краскою чернил можно разобрать три буквы: Н. Н. Р., указывающие на намерение Пушкина посвятить своему другу Н. Н. Раевскому и вторую южную поэму. Стихи 3—4 этого отрывка не сразу приняли ту редакцию, в которой они напечатаны Якушкиным; имеется еще и промежуточная редакция:

„Давно печальное преданье
Ты мне поведал в первый раз“.

Подобное же признание поэта находится и в тетради № 2366, л. 26:

„Мой друг я кончил свой рассказ (1)
Он кончен верный мой рассказ (2)
Исполнил я (твое) друзей желанье
(Ты мне поведал) давно я слышал в 1 раз
Сие печальное преданье“.

Эти варианты, по мнению Щеголева, окончательно решают вопрос о том, от кого услышал Пушкин в Петербурге Бахчисарайскую легенду, но „легенда, рассказанная Н. Н. Раевским Пушкину, конечно (по-нашему, лишь вероятно. *Б. Н.*), была известна всей семье Раевских и следовательно, всем сестрам. О них, разумеется, вспоминает Пушкин:

„Младые девы в той стране
 Преданье старины узнали,
 И мрачный памятник они (онѣ)
 Фонтаном слез именовали“.

„Онѣ“, т. е. „младые девы“, которых Щеголев почему-то отождествляет с сестрами Раевскими, и рассказали Пушкину, по мнению исследователя, вторично легенду. В подтверждение этого Щеголев приводит следующий черновой набросок на л. 26 тетради № 2366.

„Когда	онѣ	повѣдали
Я видел памятник печальной		
давно минувшее преданье	Ког	разказали мнѣ
давно Когда мне повѣдали		
плачевное		
Мнѣ стало грустно умъ		
сердцем		
Я тогда я—приуныль		
И на минуту позабыль		
безумных пиров и дружбы оргий ликованье“.		

Но как раз этот отрывок и ~~Генерал~~ дает права противопоставлять петербургское сообщение — рассказу, который передавали поэту „милые и наивные уста“, т. к. не зачеркнутые в нем слова (обозначены разрядкой) рисуют обстановку петербургской жизни поэта и говорят о том, что и рассказ „младых дев“ сначала остался вне области поэтического зрения Пушкина. Естественнее всего предположить, что легенду Пушкин услышал „в шуме радостном“ светского вечера в Петербурге, во время общего разговора, в котором принимал участие как Н. Н. Раевский, так и „младые девы“. Если же „младые девы“ рассказали поэту еще в Петербурге преданье, которое узнали „в той стране“, т. е. в Крыму, то это не были сестры

Раевские, т. к. последние впервые попали в Крым одновременно с Пушкиным, а Бахчисарай посетили даже уже после отъезда поэта в Кишинев.

Чтобы связать поэму с именем Марии Раевской, Щеголев обращается к свидетельствам современников. Олизар в своих „Воспоминаниях“ говорит: „Пушкин написал свою прелестную поэму для Марии Раевской“.¹ Щеголев указывает, что Олизар был близко знаком с семейством Раевских, увлекался Марией Раевской, а поэтому ему, конечно, была хорошо известна история возникновения „Бахчисарайского фонтана“. Категорическое свидетельство Олизара, по правильному замечанию П. Губера, теряет некоторую часть своей убедительности именно по той причине, что сам автор его, влюбленный в Марию Раевскую, руки которой он безнадежно добивался, был далек от объективности. Кроме того, нет никаких оснований предполагать, что это свидетельство исходит из семьи Раевских: ведь сама Мария Раевская в своих „Записках“ из всей поэмы относит к себе лишь две строки, кстати сказать, искажая их:

„ее очи
Яснее дня“,
Темнее ночи“.

Другое свидетельство принадлежит Вас. Ив. Туманскому. Уже было сказано о том, что летом 1823 года в Одессе Пушкин передал Туманскому отрывки из „Бахчисарайского фонтана“ и не скрыл от него, „что многие места относятся к одной женщине“, в которую он, поэт, „был очень долго и очень глупо влюблен“. Щеголев полагает, что в разговоре Пушкин назвал и имя женщины, и в подтверждение ссылается на письмо Туманского к двоюродной сестре, Соф. Григ. Туманской, от 5 декабря 1823 года: „У нас гостят теперь Раевские и нас к себе приглашают. Вся эта фамилия примечательна по редкой любезности и по оригинальности ума. Елена сильно нездорова; она страдает грудью и хотя несколько поправилась теперь, но все же еще похожа на умирающую. Она

¹ Pamiętniki (1799—1865) Gustawa Olizara. Lwów. 1892., p. 174.

никогда не танцует, но любит присутствовать на балах, которые некогда украшала. Мария, идеал Пушкинской Черкешенки (собственное выражение поэта), дурна собой, но очень привлекательна острою разговора и нежностью обращения".¹ Щеголев предполагает, что в письме В. И. Туманский ошибочно упомянул о черкешенке, вместо грузинки Заремы, а поэтому допускает, что именно Мария Раевская была идеалом Пушкина во время создания „Бахчисарайского фонтана“. Чтобы сделать в научном исследовании упомянутое чрезвычайно смелое допущение, необходимо иметь какие-то серьезные основания, у Щеголева же их нет. Уделив достаточно места рассуждениям о том, что обычное представление о Марии Раевской, как о женщине великого самопожертвования, преданности и долга, может быть, не соответствует действительности, Щеголев говорит, что и для самого Пушкина ее образ был неясен, подтверждая последнее положение стихами из поэмы: „Чью тень, о други, видел я“ и т. д., т. е. как раз тем материалом, связь которого с Марией Раевской еще надо установить. Наконец, указывает Щеголев и на приведенное М. Н. Волконской в „Записках“ двестише из „Бахчисарайского фонтана“, которое относится как раз к Зареме. Все эти соображения, устанавливающие возможное сходство между образом Заремы и Марии Раевской, какой она, по предположению Щеголева, представлялась Пушкину, по нашему мнению, вовсе не указывают на ошибочность упоминания в письме Туманского о черкешенке.

В свою очередь мы полагаем, что ошибки в свидетельстве Туманского нет. Во-первых, рукопись „Бахчисарайского фонтана“ была получена Вяземским в Москве лишь в середине ноября 1823 г.,² и трудно предположить, чтобы Туманская могла каким-то образом ознакомиться с поэмой до начала декабря; писать же ей о героине неизвестной поэмы не имело никакого смысла.

¹ Письма Вас Ив. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов. 1891. Стр. 64.

² „Остаф. арх.“, т. II, стр. 367. А. И. Тургенев 29 ноября, 14 и 18 декабря настойчиво просит переслать ему список поэмы.

Во-вторых, то, что Пушкин говоря о черкешенке (вероятно, как о своем идеале, на что есть указание и в LVII строфе I гл. „Евгения Онегина“), и может быть не с одним В. И. Туманским, подтверждает стихотворение 1826 года „Нет, не Черкешенка она“.

Итак, Мария Раевская, по собственному выражению поэта, являлась идеалом черкешенки, но именно поэтому она едва ли уже могла послужить прототипом для одной из героинь „Бахчисарайского фонтана“, т. к. на различие этих образов указал сам Пушкин:

„Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов, Салгира“.

(„Евг. Онег.“ гл. I, строф. LVII).

Но если даже предположить, что материал для изображения Заремы в „Бахчисарайском фонтане“ дала Пушкину Мария Раевская, то и тогда еще нельзя поэму в целом относить к ней, т. к. в центре поэмы стоит не образ страстной и ревливой Заремы, а кроткой Марии.

В подтверждение своей гипотезы, Щеголев приводит еще выдержку из „Записок“ Волконской и свидетельство гр. П. И. Капниста.¹

О Пушкине М. Н. Волконская могла бы многое рассказать: ведь после путешествия по Кавказу и Крыму она встречалась с ним и в Каменке, и в Кишиневе, и в Одессе, и даже в Москве, однако в „Записках“ она уделила поэту лишь несколько страниц, описывая последний вечер перед своим отъездом в Сибирь, на котором присутствовал и Пушкин.² Из ее рассказа, как признается сам Щеголев, трудно извлечь „какие-либо данные к истории и характеристике чувства Пушкина“. Не потому ли, что и самое чувство не являлось чем-то исключительным, выходящим из ряда вон в жизни Пушкина и Мар. Раевской? „Но содержание сообщения,— продолжает тот же исследователь,— не дает оснований отрицать самое

¹ Капнист, П. И.—К эпизоду о высылке Пушкина из Одессы в его имение Псковской губернии.—„Русская стар.“ 1899, № 5, стр. 242.

² 27 декабря 1826 года.

существование привязанности поэта к М. Н. Раевской". Однако это же сообщение не дает оснований и утверждать, что привязанность Пушкина к Мар. Раевской была глубоким утаенным чувством, о котором не раз упоминает поэт в стихах. Сама Мар. Раевская в творчестве Пушкина относит к себе лишь приведенное выше двустишие из „Бахчисарайского фонтана“ и XXXIII строфу I-ой главы „Евгения Онегина“, вовсе не упоминая об элегии „Редет облаков летучая гряда“, а ведь Щеголев утверждает, и мы с ним согласились, что женщина, сообщившая поэту Бахчисарайское предание, и „дева юная“ — одно и то же лицо. Едва ли в данном случае возможно предположить умалчивание о чувстве поэта из скромности, т. к. упомянутые Мар. Раевской стихи как раз восхваляют ее „земную красоту“, а во втором из них даже звучит порыв страсти.

Щеголев не сомневается, что упомянутый отрывок из „Евгения Онегина“ относится к М. Раевской. В своих „Записках“ она даже рассказала случай из путешествия в Крым, по ее мнению, опоэтизированный в отрывке Пушкиным: „Я помню, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им.

Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убежать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только 15 лет“.

Вот полностью эта строфа:

„Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней

Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста молодых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

В одном из черновых автографов этого отрывка (тетр. № 2366, л. 17 об.) Щеголев разобрал зачеркнутую строку: „А, ты, кого назвать не смею“, и она, по его мнению, „прибавляет одну маленькую, но яркую подробность к характеристике чувства поэта“. Но в том же самом черновике находится и другая строка: „стояла над волнами над скалой“, которая рисует крымскую обстановку и вскрывает, что в рассказе М. Раевской и в отрывке Пушкина идет речь о разных фактических событиях. На то, что действие и в окончательной редакции происходит в Крыму, указывает последняя строка предыдущей строфы: „У моря на граните скал“. Естественно является вопрос: не ошибалась ли Мария Раевская, относя к себе XXXIII строфу?

Теперь обратимся к свидетельству гр. П. И. Капниста, который, как указывает Щеголев, „мог быть хорошо осведомлен в обстоятельствах жизни Пушкина на юге из хорошо сохраненной традиции“. „Я слышал,—пишет Капнист,— что Пушкин был влюблен в одну из дочерей генерала Раевского и провел несколько времени с его семейством в Крыму, в Гурзуфе, когда писал свой „Бахчисарайский фонтан“. Мне говорили, что впоследствии, создавая „Евгения Онегина“, Пушкин вдохновлялся этой любовью, которой он пламенел в виду моря, лобзающего прелестные берега Тавриды, и что к предмету именно этой любви относится художественная строфа, начинающаяся стихами: „Я помню море пред грозою“ et. c.“. В свидетельстве Капниста заключается грубая фактическая ошибка: поэму „Бахчисарайский фонтан“ Пушкин в Крыму не писал, и это заставляет предполагать неосведомленность лиц, передававших Капнисту указанные в свидетельстве факты. Кроме того, „предмет любви“

Капнистом не назван, стихи же „Я помню море пред грозою“, как указано выше, безоговорочно относить к Марии Раевской нельзя.

Наконец, к предмету мучительной и таинственной любви поэта безусловно относится посвящение „Полтавы“. Ни в письмах самого Пушкина, ни в воспоминаниях его друзей и близких не встречается даже намеков на имя этой женщины, которая некогда отвергла любовь поэта, но воспоминание о которой — „сокровище, святыня, любовь души“ его. Щеголев впервые для решения этого вопроса обратился к черновикам, где и нашел зачеркнутый вариант 13-го стиха: „Сибири хладная пустыня“ (в белом автографе: „Твоя печальная пустыня“). Упоминание о Сибири, по мнению исследователя, указывает, что поэма посвящается Мар. Ник. Раевской-Волконской, последовавшей в Сибирь за осужденным на каторгу мужем-декабристом и проживавшей в 1828 году, когда писалось посвящение, около Читинского острога.

По нашему мнению, зачеркнутая строчка из посвящения к „Полтаве“ является самым сильным аргументом из выставленных Щеголевым в защиту своей гипотезы. Но силу этот аргумент получает лишь в окружении целого ряда других, хотя бы мелких фактов, указывающих на глубокое „утаенное“ чувство Пушкина к Мар. Раевской; достаточного же количества таких фактов, как мы старались выяснить, не имеется. Относить же посвящение к Мар. Раевской только потому, что последняя проживала в это время в Сибири, нельзя.

Итак, по нашему мнению, любовь Пушкина к Марии Раевской еще не реальный биографический факт, как утверждает Щеголев, а лишь одна из более или менее вероятных гипотез, и связывать с именем Мар. Ник. целый ряд стихотворений, как это часто сейчас делается, только потому, что в них слышатся отзвуки глубокого чувства, а также делать из гипотезы какие бы то ни было выводы небиографического характера — еще преждевременно. К сожалению, необходимая осторожность в этом отношении не всегда соблюдается, и в результате наука о Пушкине засоряется ненужными, мало-

убедительными, а подчас даже фантастическими утверждениями. Как на курьезы, можно указать на отнесение в Академическом издании Пушкина (т. IV, стр. 396—397) чернового наброска 1827 года („Кто знает край, где небѣ блещет“), в котором говорится о поездке в Италию близкой поэту, но неизвестной нам женщины,—к Марии Раевской, хотя последняя никогда в Италии и не бывала, или на целую серию „оригинальных“ утверждений Б. М. Соколова в его книге „Кн. Мария Волконская и Пушкин“ (изд. „Задруга“. М. 1922). Безобидная теория Щеголева в руках последнего исследователя обратилась даже в оружие для доказательства политического консерватизма Пушкина. Догматическое отношение к гипотезе, еще недостаточно проверенной и не покрывающей всей совокупности имеющихся в пушкиноведении фактов, со стороны ревностных ее приверженцев и заставило нас еще раз пересмотреть основные положения ее, тем более, что до сих пор она подверглась более или менее детальной критике лишь в работе П. К. Губера.¹

В нашу задачу не входит рассмотрение целого ряда местами ценных и интересных гипотез о „северной“ любви поэта. Исследователи, выдвинувшие эти гипотезы (Незеленов, Гершензон, Губер и др.), обычно исходя из поэтических свидетельств самого Пушкина, из положения таинственных букв в Дон-Жуанском списке и других фактов, считают, что Пушкин вывез на юг любовь к какой-то женщине из Петербурга, но связать это чувство за отсутствием фактических данных с жизнью Пушкина в Крыму и с любовной „крымской“ лирикой им до сих пор не удавалось.

Упомянем еще для полноты вопроса о маловероятной и ничем не подтвержденной гипотезе Д. С. Дарского, что Пушкин на Кавказе и в Крыму переживал чувство к компаньонке Раевских — татарке Анне Ивановне.²

¹ Губер, П. К.—Дон-Жуанский список Пушкина, стр. 236—279.

² Пушкин. Сборник первый Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, под ред. Н. К. Пиксанова. М. 1924. Хроника, стр. 310—314.

По нашему мнению, вопрос об „утаенной любви“ поэта, несмотря на оживленный интерес к нему в пушкиноведении, еще не разрешен и, может быть, в связи с малочисленностью фактических данных, в настоящее время разрешен быть не может. Но кто бы ни была та женщина, в которую „очень долго и очень глупо“ был влюблен поэт, неразделенной страсти к ней обязан Пушкин и частью своей славой и лучшими минутами вдохновения.

Май -декабрь 1928 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Вводные замечания

	Стран.
Краткий обзор предыдущих работ по данному вопросу. Обычный биографический рассказ о том, как Пушкин попал в Крым. Дополнения и поправки к нему	3

II. Путешествие Пушкина по Крыму

(Керчь. Феодосия. Гурзуф)

1. Материалы. Переезд Пушкина в Крым. Керчь в 20-х гг. прошлого столетия и впечатления от нее поэта. Общие замечания о крымских впечатлениях Пушкина	11
2. Переезд в Феодосию. Город в 20-х гг. прошлого века и отсутствие упоминаний о нем у Пушкина. Сем. Мих. Броневский	15
3. Переезд из Феодосии в Гурзуф. Элегия „Погагло дневное светило“. Первые впечатления поэта от Гурзуфа. Дом, в котором проживал Пушкин. Пушкин и семейство Раевских. Времяпровождение поэта в Гурзуфе	20
4. Увлечение Пушкина поэзией Байрона на Кавказе и в Крыму. Знакомство Пушкина с Байроном в Петербурге. Чтение Байрона в Гурзуфе. Изменение художественных вкусов Пушкина. „Байронизм“ Пушкина в жизни и отражение его в поэме „Кавказский пленник“. Причины увлечения Пушкина поэзией Байрона во время поездки на Кавказ и в Крым	25
5. Пушкинские места в Гурзуфе. Заключение Бертье-Делагарда. Дополнение Д. Соколова. Пушкинская скала в Гурзуфе. Вопрос о включении в число Пушкинских мест деревенского фонтана	37

III. Путешествие Пушкина по Крыму

(Южный берег. Бахчисарай. Симферополь.)

1. Дата отъезда Пушкина из Гурзуфа. Маршрут и путевые впечатления поэта.† Георгиевский монастырь и развалины храма Артемиды. Миф об Атридах и знакомство с ним Пушкина. Заезжал ли Пушкин в Севастополь?	40
--	----

2. Бахчисарай в 20-х гг. прошлого столетия. Ханский дворец и впечатления от него Пушкина. Происхождение легенды о Бахчисарайском фонтане. Знакомство Пушкина с легендой еще в Петербурге. Байрам. Ночлег в Бахчисарае 45
3. Симферополь в 20-х гг. прошлого века и отсутствие упоминаний о нем у поэта. Вопрос о Салгире в поэзии Пушкина. Дата отъезда Пушкина из Симферополя. Встреча поэта с А. Н. Барановым. Рассказ доктора Ланга 52
4. Желание Пушкина вторично посетить Крым. Несостоявшиеся поездки 1824 года. Воспоминания о Крыме в с. Михайловском . . . 59

IV. Крымские стихотворения Пушкина

- Понятие „крымские стихотворения“. Объем творчества Пушкина в Крыму. Стихотворения, навеянные воспоминаниями о Крыме. Отсутствие в них социальных мотивов. Вопрос об „утаенной любви“ Пушкина 62